



ISSN 1993-9477

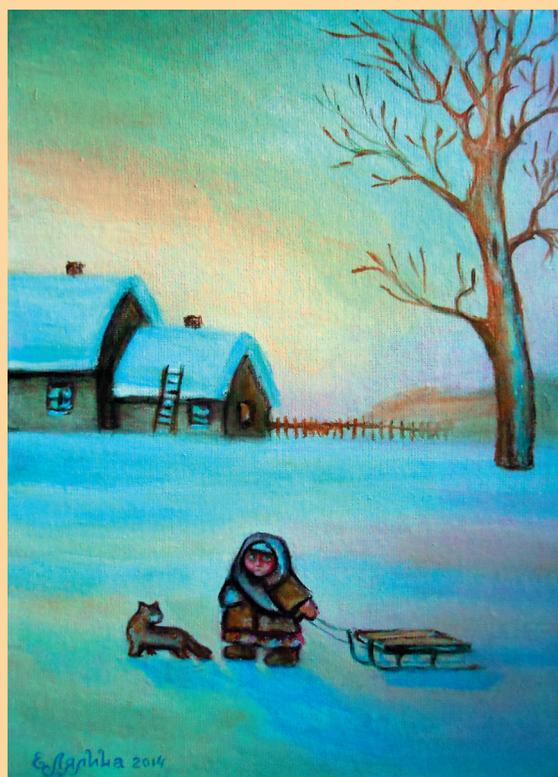
XXI ВЕК **ВОЛГА** 1-2 2016

Литературно-художественный журнал

РАБОТЫ ХУДОЖНИЦЫ ЕЛЕНЫ ЛЯЛИНОЙ



«Ангел над городом»



«Морозный вечер в деревне»



XXI ВЕК

ВОЛГА

1-2 2016

Литературно-художественный журнал

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

- А.Ю. Аврутин** – член Союза писателей Беларуси (Минск)
А.Б. Амусин – член Союза писателей России, председатель Ассоциации Саратовских Писателей
А.А. Бусс – член Союза писателей России (Саратов)
В.И. Вардугин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Е.А. Грачёв – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Д.Е. Кан – член Союза писателей России (Новокуйбышевск)
О.И. Корниенко – член Союза писателей России (Сызрань)
В.В. Ковалёв – член Союза художников (Рига)
В.А. Кремер – член Союза писателей России (Саратов)
М.А. Лубоцкий – член Союза писателей Москвы, ответственный секретарь Ассоциации Саратовских Писателей
В.Д. Лютый – член Союза писателей России (Воронеж)
М.С. Муллин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Г.П. Муренина – директор музея Н.Г. Чернышевского, член Ассоциации Саратовских Писателей
Н.В. Шаталина – член Союза журналистов России (Саратов)

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭТОГРАД	
Валерий КРЕМЕР. Необъятная душа	3
ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА	
Лев НАУМОВ. Два рассказа	9
ОСТАНЕТСЯ МОЙ ГОЛОС	
Василий ШАБАНОВ. Зов земли	21
ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА	
Николай БЕСЕДИН. Заклинание старых могил	25
ОТРАЖЕНИЯ	
Анатолий КРИЩЕНКО. Бежик	52
ПОЭТОГРАД	
Алексей БОРЫЧЕВ. Полдневный романс	60
ОТРАЖЕНИЯ	
Виталий ЛОЗОВИЧ. Убойный снег	64
ПОЭТОГРАД	
Сергей БУДАРИН. Звонкое небо	119
КАМЕРА АБСУРДА	
Натэлла ЛЕВИЦКА. ВиолонЧЕЛ	123
КАМЕРА АБСУРДА	
Георгий ПАНКРАТОВ. Фестиваль	127
В САДАХ ЛИЦЕЯ	
Анастасия ЯСТРЕБКОВА. Апарт, или Мысли «в сторону»	136
ПОЭТОГРАД	
Анатолий ГЕНЕРАЛОВ. Вещество времени	141
НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ	
Иван ШУЛЬПИН. В поисках хмельёвской форели	145
К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА	
Вячеслав ЛЮТЫЙ. «Провиденциальный собеседник»	161
СТАТЬИ	
Андрей ТИМОФЕЕВ. Органичность как понятие и как подход	164
РЕЦЕНЗИИ	
Светлана ДУРНОВА. Книгу переиздать — не новую создать	181
Елизавета МАРТЫНОВА. «Мир светлый, полный тайн...»	183
ВОЛЖСКИЙ АРХИВ	
Татьяна ЕРМОЛАЕВА. Главные ценности Константина Ионова	185
В МИРЕ ИСКУССТВА	
Лики зимы (О работах Елены Лялиной)	190



**Валерий
КРЕМЕР**

НЕОБЪЯТНАЯ ДУША

В беловежье стиха,
В беспредельности снов
Сердцевина тиха,
Потому что не нов
Этот поиск строки,
Уходящей в мечту.
Изреки, изреки
Небыль и красоту.
Изреки тишину,
Изреки высоту,
Если тронешь струну
Только ту, только ту.

И что ни говори – всё бесполезно.
Огромный мир качается, дрожит
Над бесконечной, безразличной бездной,
Даря тебе единственную жизнь.
Живёшь и ничего не понимаешь,
Хотя всю жизнь пытаешься понять.
Но, если мир душою обнимаешь,
К надежде приближаешься опять.

-
- Валерий Адольфович Кремер родился в 1954 году в Саратове. Окончил филологический факультет СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Служил в армии, работал учителем в сельской школе, корреспондентом в различных газетах г. Саратова. Публикуется в периодической печати с 1973 года. Стихи печатались в саратовской периодике, коллективных сборниках Приволжского книжного издательства, журналах «Волга», «Волга–XXI век», «Московский Парнас», «Новая Немига литературная», в литературно-художественных альманахах «Саратов литературный», «Зелёный остров», «Сюжет», «Моргенштерн» (Союз российских немецких писателей), «Тритон», «Трёхцветная кошка», «Сквозь тишину» и «Второй Петербург». Лауреат фестивалей поэзии в Волгограде и Сызрани. Автор семи книг стихов. Член Союза писателей России.

И сходишь с орбиты,
И говоришь: «Привет!»
Непредсказуемости,
Несказанности.
Странной звезды в окне
Станный свет,
И всё вокруг –
Странности.
Странно,
Что ты ещё жив,
Хотя перешёл все границы
Земли и неба,
Правды и лжи.
Может быть,
Всё тебе только снится?
Небо, звёзды, жизнь,
Звери и рыбы,
Тепло женщины,
Спящей рядом с тобой,
Такой далёкой и близкой,
Странной, другой,
Но ты знаешь – Той.
Деревья, птицы –
Всё тайной увенчано,
Тайной расцвечено.
Плачь и пой,
Затерянный в вечности
Странник,
Так долго идущий
К себе.
Вечная надежда
Небесной млечности,
Вечная мечта
И вечный разбег.

Уж лучше сразу, лучше сразу
Сказать нечаянную фразу,
Прорвавшуюся из глубин,
Поняв, что человек напротив –
Твоя судьба, и даже, вроде,
Он тоже, как и ты, один.
А что тянуть? Ведь непременно
Сорвёшься, ибо непомерна
Мечта о счастье, что внутри
Сжигает всё и небом дышит,
А то, что крик никто не слышит,
Возможно, лучше. Посмотри
На этих сирых и убогих,

Которым выбрали дороги.
Они бредут, бредут, бредут.
Они устали непомерно
Не быть собой и, значит, верно
Взять неслучившийся редут.
Пусть упадёшь, сражённый пулей,
Но будешь знать, что не согнули,
Не дали маску мертвеца.
Ведь что есть жизнь? Души движенье,
К родной руке прикосновенье
И удивительность лица.

Ты так смеёшься, хватаясь за край полотенца,
Будто нашла наконец-то ответ на вопрос.
Небо над городом светит глазами младенца.
Ты так смеёшься, что вдруг понимаешь до слёз:
Сказка закончилась. Он тебя больше не любит.
Жизнь продолжается, только уже без него.
Ходят по городу мрачные, скучные люди.
Видно, разлюблены все они до одного.

Как плещутся голуби в луже
В жару! Хорошо им на свете.
Никто им не важен, не нужен,
Уверены, что их заметят.
Заметят, потом приголубят,
Насыпят зерна или крошек,
Отгонят крадущихся кошек,
Поскольку нежданно полюбят.
Ведь жизнь – лишь пространство привычек
И вечное: «любит – не любит».
Легко приголубливать птичек.
Вот душу трудней приголубить.

Яблоко сладкое, яблоко терпкое
Падает в землю, лежит, умирая.
Жизнь пролетает, шальная и дерзкая,
И далеко до небесного рая.
Жизнь – это яблоко необъяснимое,
Круглое, словно Земля, где мы маемся.
Всё, что мы знаем, заведомо мнимое,
Но мы стараемся, очень стараемся
Что-то понять необъятное, вечное,
Вслушаться в небо и в тайну его.
Падаем яблоком в землю беспечную –
И не боимся уже ничего.

Я один в этом мире. Скажи,
Ты со мной или тоже одна?
В этом мире без правил и дна,
В этом мире надежды и лжи.
Ты молчишь. Ну и пусть. Хорошо,
Что не лжёшь, коль сама не поймёшь.
С неба сыплет смешной порошок,
Не похожий на снег и на дождь.

Этот ясень, грустный ясень
За окном моим в дожде,
Словно мир, себе не ясен,
Не поймёт, что он в беде.
Глупый, он не понимает,
Что висит на волоске,
В одиночестве внимая
Незатейливой тоске.
Ты куда растёшь безвольно,
Отдаваясь немоте?
Будет больно. Очень больно.
Будут дни не те. Не те.
Серый и необъяснимый
Тянется безличный день.
Всё в нём невпопад и мимо.
И сбежать из плена лень.
Всё до срока, всё до срока,
Сине-белого кино.
Хлопотливая сорока,
Не трещи, мне всё равно.
Слушать я тебя не стану:
Всё я знаю, почему.
Выйду и под дождик встану,
Грустный ясень обниму.

Ты слышишь, как сердце колотится?
Вот-вот полетит из груди.
Куда-то в неожиданное просится,
Где счастье ещё впереди.
Яснее, чем прежде, становится,
Что силой нельзя победить.
И жизнь всё к чему-то готовится...
Но как научиться любить?
Как душу раскинуть безбрежную
Под вечную милость лучей?
Невнятную, сжатую, нежную,
Слепую от горьких ночей?

Я живу, любя и маясь,
Веря, что себя найду.
С человеком славным знаюсь,
Так похожим на звезду.
В ожидании рассвета
Замирают, не дыша,
Неизвестная планета,
Необъятная душа.

Я касаюсь тебя, словно неба,
Я не знаю, как жить не любя.
Ты нужнее и песни, и хлеба,
Мне бы только касаться тебя.
Есть такое нежданное счастье –
Тронуть вечность прозревшей рукой,
Чтобы в солнечный день и в ненастье
Обретать свой поющий покой.

Лежишь, вращая в облака,
Вверху невидимые звёзды.
Вдали течёт твоя река,
И ничего ещё не поздно.
Непредсказуем и любим,
Ты, словно небо, необъятен.
А мир ещё неповторим,
И в нём хватает белых пятен.
И столько нежности в душе,
Что ты ещё храним судьбою.
Не ошибись на вираже,
Останься тем, кем был, – собою.

Любить и петь, пока не поздно,
Пока не позабыл, кто ты,
Пока ещё сияют звёзды
И не погасли все мечты.
Ты видишь, что осталась малость
До той, последней темноты –
Души печальная усталость
И та же жажда высоты,
Что с детства мучила и пела,
И обнимала, и звала,
Она всегда тебя хотела
И ждёт сейчас, как и ждала.

ЖАЖДА

Жизнь,
Женщина,
Жажда,
За каждым окном
Ждущая.
Жгущая,
Лгущая,
Что будет всегда.
Вода.
За каждым окном.
Всегда.
Да,
Разлитое в небе,
Летящее снегом,
Падающее дождём.
Ждём
Ту,
Схожую
Кожею,
Взглядом.
Тут.
Рядом.
Тепло,
Горячо,
Жжёт.
Ждёт...
Каждый,
Каждая,
Бог,
Богиня,
Прохожий,
Прохожая,
А под кожей
Зреет жажда,
Бредит жажда,
Грезит жажда...

Опять, как бездну лет назад
И бесконечность лет вперёд –
Непредсказуемый закат,
Непредсказуемый восход.
Лети, лети, душа моя,
От высоты не отрекаясь,
В необъяснимость бытия,
К извечной Тайне прикасясь.



Лев НАУМОВ

ДВА РАССКАЗА

СОНЕТ

Как и все прочие чудеса в подлунном мире, их встреча произошла абсолютно неожиданно. Это событие нельзя назвать ни знакомством, ни свиданием, поскольку они просто внезапно столкнулись лицом к лицу: человек и сонет.

Человеку тогда исполнилось четырнадцать лет. Сонет был несколькими веками старше и предстал перед юношей в виде искажённого прозаического пересказа второго катрена. Дело было так. Ничего не подозревавший юноша ехал в полупустом автобусе. Неподальёку от него сидела пара – женщина и мужчина. Собственно, последний и рассказывал спутнице сюжет части сонета, отрекомендовав его как «занимательный» и привнося массу неказистых вольностей.

То обстоятельство, что поэтический шедевр сохранил свою красоту даже в таком изложении, делает историю ещё более невероятной. Возможно, если бы мужчина знал оригинальный текст хуже или если бы он рассказывал подружке другой его отрывок, жизнь юноши сложилась бы иначе. Однако произошло ровно то, что произошло. Не больше, но и не меньше, а потому описанное событие сформировало перед человеком и текстом сонета ту действительность, в которой им обоим предстояло пойти рука об руку.

Четырнадцать лет – тот возраст, когда сознание в некоторой пропорции аннексировано мыслями о противоположном поле и определении своего пути на ближайшие пол-

-
- Лев Александрович Наумов родился в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики по специальности «Прикладная математика». Писатель, драматург, биограф выдающегося поэта XX века Александра Башлачёва. Лауреат Всероссийского драматургического конкурса «Действующие лица» (2009), Международного конкурса драматургии «ЛитоДрама» (2011). Пьесы Льва Наумова ставились в театрах России и Германии. В 2014 году удостоен Царскосельской художественной премии за книгу рассказов и пьес «Шёпот забытых букв». Живёт и работает в Санкт-Петербурге.

века. Внезапно и тем, и другим размышлениям пришлось потесниться, поскольку голову юноши почти целиком заполонила услышанная история. Древние события искрились в воображении, которое преклонялось перед каждым отдельным словом. Все они будто были известны ему с рождения. В неведомом авторе человек узнавал себя, понимая при этом, что оказаться им он никак не мог, поскольку ему пока не под силу придумать нечто столь совершенное. В рассказе, занявшем несколько мгновений, уже было всё, хотя замороженный юноша, несомненно, отдавал себе отчёт: услышанное – лишь часть чего-то большего. Воображение рисовало мечты о том, что внезапно встреченный сюжет – блуждающий осколок сурового северного, магического южного, совершенного западного или таинственного восточного эпоса. Каким же колоссом могла оказаться история в целом! Фантазия непрерывно делала намёки, но робко отступала, чувствуя своё бессилие. Разум, напротив, требовал точных и обоснованных ответов. Судьба решилась в одночасье.

Входя в автобус, человек не мог даже предположить, что разделится с выбором профессии ещё до того, как вновь окажется на улице. Но уже через десять минут он был готов кричать, что станет переводчиком, литературоведом, историком... Конкретная специальность теперь не имела значения, ведь она становилась лишь приложением к тому, что юноша видел делом своей жизни, а именно: поиск подлинного и полного текста, изучение удивительного сюжета и служение ему.

Долгие годы человек потом удивлялся тому, какая случайность, какая хрупкая мелочь стала для него судьбоносной. Он мог остаться дома, мог пойти пешком, мог просто поехать на другом автобусе... Даже оказавшись в том самом заветном салоне, он мог сесть дальше от беседующей пары, погрузиться в собственные мысли или прислушаться к другому разговору...

При этом, будучи человеком чистым – а ведь с иным подобная история случиться попросту бы не могла, – юноша подспудно стыдился того, что не что иное, как акт вербального вуайеризма стал поворотным моментом в его жизни. Когда со временем в нём развилась привычка разбирать слова на части и смаковать каждую в отдельности, он понял, что расценивал произошедшее верно. В слове «вуайеризм», в его первом слоге, он нашёл и расстояние в один «сиамский вуа», отделявшее его от автобусных собеседников. Фатальный голос мужчины отложился в его памяти, в свою очередь, галльским *voix*. А сам сюжет отдавал древностью и благородством, словно подёрнутый мрачной плесенью французский сыр вуа.

Разумеется, в сказанном выше велика доля легкомысленной шутки, но в университете человека научили видеть потаённые закономерности мироздания, сокрытые в словах, и искренне верить в них. На этом поприще он достиг серьёзных успехов и вскоре, став профессором, сам начал преподавать. Однако в тени его внешней биографии и академической карьеры развивалась история погони за текстом.

Напасть на след было весьма непросто. Услышанный в автобусе сюжет поражал объёмностью образов. Это усиливало восторг, но,

к сожалению, затрудняло поиски. Всё время студенчества, а также первый год аспирантуры пришлось потратить на то, чтобы всего лишь определиться с направлением «раскопок». Первое подслушанное предложение влекло за собой мысль, что текст происходит из Скандинавии. Следующая сентенция навевала идею об островных мифах Полинезии. Еще одна – о России. Последняя – о Франции. Перед ней разместился форменный латиноамериканский пассаж. Если же ткнуть в середину текста наугад, то можно было прочесть немецкую или новоанглийскую фразу... Необходимо отметить, что человеку приходилось работать с исковерканным пересказом, возможно, даже не оригинала, а перевода или другого пересказа. Нельзя также было сбрасывать со счетов и преломление сюжета в разуме и памяти самого героя. Потому могло стать и так, что ни одна из пришедших на ум гипотез о генезисе текста не соответствовала действительности.

Каждый день таинственный сюжет бросал вызов самим фактом своего существования. Казалось, что он, вопреки совершенству, шептал: «Меня не существует! Я – какофония мысли, не более того. Ты никогда меня не найдёшь!» Но человек был убеждён, что совершенный текст должен существовать. Как известно, характер закаляется в процессе преодоления преград, и в один прекрасный день преследователь поклялся себе, что не умрёт, пока не разыщет оригинальный вариант.

По прошествии шести лет клубок удалось распутать настолько, чтобы можно было, подобно Тесею, ухватиться за нить. Как и мифический герой, человек оказался в запутанном лабиринте и тоже страстно жаждал встречи со своим Минотавром. Но, в отличие от Тесея, он даже не догадывался, в какую сторону нужно двигаться, чтобы выбраться на свет. Кроме того, он не подозревал, сколь долгий путь ему предстоит.

Будучи на конференции в Нью-Йорке, человек обнаружил в библиотеке Куинса один документ, написанный на испанском языке. Величавое совершенство сюжета не оставляло сомнений, что в руках у него изложение той самой заветной истории. Именно тогда уже не юноша, а молодой мужчина узнал, что текст является сонетом. Знакомство состоялось.

Испытал ли он разочарование от того, что все эти годы искал лишь четырнадцать строк? Ни в коем случае! Образчик гармонии и выразительности, конечно, должен был оказаться поэтическим текстом. Как же человек сразу не увидел стихи за автобусной прозой! Искажённый второй катрен определил его жизненный путь, и трудно даже предположить, сколько восторга могла принести встреча с обоими катренами и обоими терцетами сразу.

Убеждённый в непреходящем совершенстве найденного сонета, человек отважно глотал каждое следующее слово, обрекая себя, возможно, на то, что уже ничто в жизни его так сильно не впечатлит, ничто больше не собьёт с ног штормящей красотой. Он был счастлив в этот момент. Поставил перед собой цель и достиг её! Впрочем, стоп. Что за приписка притаилась за точкой четырнадцатой строки? «Перевод Габриэлы Марии Сааведра»... Так что же, это не оригинал?

Эмоции закрутились как в калейдоскопе: разочарование, отчаяние, злость, уверенная ясность, восторг. Как он мог вновь оказаться столь близоруким?! Действительно, прочитанное им – ещё не предел. Можно улучшить и здесь, и тут, а это прилагательное вообще выглядит надуманным. Пусть до абсолютной гармонии остался всего лишь маленький шагок, но, покуда он не сделан, сонет несовершенен, а значит, жизнь ещё имеет смысл!

Неделю человек потратил на поиски переводчицы, носящей славную фамилию Сааведра. Она оказалась аргентинкой, ныне проживающей в Мехико, почётным профессором Национального автономного университета Мексики. Благосклонность судьбы позволила ему незамедлительно связаться с ней по телефону.

Их разговор был достаточно длинным для того, чтобы доставить Габриэле Марии удовлетворение интересом к её персоне. Человек же повесил трубку, будучи весьма озадаченным. Выяснилось, что аргентино-мексиканская переводчица сонета на испанский язык также не держала в руках оригинала. Она использовала некий таинственный вариант на голландском языке, вариант, корни которого ей установить не удалось, потому она великодушно воздержалась от упоминания о первоисточнике. Человеком овладело пьянящее чувство, что погоня только начинается.

Последовали тысячи запросов в библиотеки мира и сотни поездок. Герой стал крупным учёным и желанным докладчиком на конференциях, симпозиумах, в университетах. Но всякий раз, решая, куда держать путь, он руководствовался вовсе не научным рангом того или иного мероприятия. Его не привлекали и далёкие диковинные достопримечательности. Единственным аргументом в пользу положительного решения вопроса о будущей поездке был шанс найти в пункте назначения следы сонета.

Человек разыскивал переводчиков, сличал архивы, штудировал учётные карточки. Переводы множились с невероятной скоростью, а история текста ветвилась и усложнялась. Пилигрим пытался систематизировать её, составляя своего рода генеалогическое древо текста.

Какие-то переводы добавляли сонету совершенства, и тогда человек понимал, что он движется по направлению к оригиналу, к образцу, к корню дерева. Эти варианты становились прародителями менее совершенных.

Первоначально обнаруженная последовательность Мехико–Амстердам была частью длинной цепочки переложений с языка на язык, первое из которых также происходило из Бенилюкса – ближе всего подошедший к первоисточнику переводчик проживал некогда в Генте. К сожалению, узнать что-либо о нём не удалось. Долгое время все найденные тексты встраивались в дерево, корневищем которого являлся «гентский вариант». Со временем были обнаружены два других протоперевода, происходивших из Стокгольма и Аделаиды соответственно. Десятилетние усилия не позволили человеку увязать три корневые, самые совершенные версии сонета. Каждая из них была восхитительна по-своему. Кроме того, они содержали множество крохотных отличий, добавлявших преследователю одержимости.

Признав своё, по крайней мере, временное бессилие в поисках корней текста, человек стал «растить» сразу три дерева вариантов одновременно, сфокусировав при этом внимание на ветвях. Отдельные ростки довольно быстро купировались неудачными переводами, последующие пути развития которых вызывали, к несчастью, лишь сочувствие к бесславным труженикам пера и словаря. Но скрупулёзность и характер самого исследователя требовали систематизации даже таких версий.

К тому моменту, когда человеку стукнуло сорок лет, ему удалось разыскать двести тридцать девять вариантов сонета, объехав множество стран. Какие разные и удивительные тексты попадались ему на пути! Превалировали, разумеется, стихотворные версии, классической длиной в четырнадцать строк. Тем не менее встречались и прозаические, занимавшие десятки страниц. Были и те, которые, начавшись в стихах, плавно теряли ритм и рифму, обращаясь прозой.

Признаться, на пятом десятке человека начал одолевать пессимизм. Изнутри точило чувство, что до оригинального текста он уже не доберётся. Но данное себе обещание заставляло гнать мысли о том, чтобы сдать, хотя с каждым днём это требовало всё больших усилий. Однако стоило только замаячить призрачной надежде, стоило появиться новым направлениям поисков, как отчаяние безропотно отступало.

Визит в Коннектикутскую библиотеку не предвещал решительно ничего особенного. Человек ожидал найти источник вполне бесталанного польского перевода, выполненного в Гданьске, но обнаруженного, как это ни удивительно, в Сиане. Это был скорее визит долга педантичного учёного, а не страстный порыв азартного исследователя. Тем не менее, когда хранитель вынес заказанный документ, преследователь сонета замер в предчувствии неожиданного открытия.

На столе лежал существенно более древний манускрипт, чем можно было ожидать. Чтение же привело человека в восторженное оцепенение. С одной стороны, это был самый совершенный вариант текста из тех, что ему пока довелось найти. Судя по датировке и качеству, он был источником для аделаидского варианта. Но, с другой стороны, исходя из описания печати, почерка, иллюстрации, а также вторичного лингвистического анализа, он несомненно был и источником для перевода из Гданьска–Сианя. Оба факта не вызывали сомнений, а значит... Значит, одна из «древовидных» историй текста замкнулась в кольцо.

Загадочный парадокс лишил человека сна, вернув ему при этом юношеский энтузиазм. Герой окончательно забросил свою научно-преподавательскую работу, полностью отдавшись следованию за сонетом. Опустим описание дальнейших перемещений и находок, поскольку оно покажется хаотическим кому угодно, кроме непосредственного участника. Отметим при этом основные результаты – их было два. Первый заключался в том, что все три генеалогические структуры, бывшие некогда древовидными, сплелись в плотную сеть или, используя научные термины, в связный граф. Исследователю стало ясно, что некоторые переводы использовали два или три других в качестве

источников. Так человеку удалось приблизиться к желанному оригиналу. И в этом состоял второй результат.

Казалось, сонет и сам ждал того момента, когда преследователь воссоздаст паутину его метаморфоз до конца. Наиболее совершенных переводов теперь насчитывалось не три, а семь, и они «торчали» из графа с разных сторон. Какие-то из них выступали неожиданными венцами чудаковатых и некачественных переложений. Другие несли «фамильное» поэтическое совершенство. Выбрать лучший из этих семи было невозможно. Существовал некий порог, за которым механизм сравнения качества или красоты отказывался работать. Исследователь дошёл даже до того, что изобразил и этот порог в виде замкнутой линии, заключающей внутри себя все вершины графа, кроме упомянутых семи.

Вероятно, поиски могли бы продолжаться и дальше, но в одно прекрасное утро человек осознал, что объехал вслед за сонетом весь земной шар. У него имелись все переводы, которые можно было найти. Но был ли среди них оригинал? А что если изначальный сонет так и не найден? Неужели теперь, чтобы исполнить свою клятву, пилигрим обречён на бессмертие? Неизвестно, задавал ли исследователь себе эти вопросы, но ответы на них он определённо знал. И в один из дней пожилой человек, которому было уже шестьдесят шесть лет, завершил земной путь, покончив с собой.

Среди коллег, которые только после его смерти ознакомились с генеалогическим графом и его составляющими, сразу возникла снисходительная гипотеза, будто он совершил суицид, движимый убеждённостью, что дальнейшая его жизнь будет серой и скучной, коль скоро все образцы красоты собраны и каталогизированы. Это предположение было адекватно лишь субъектам, которые его высказывали, но не личности, встретившейся с текстом в четырнадцать лет и служившей ему до шестидесяти шести. Такой человек не мог забыть обещание, данное самому себе: не покидать этот мир, пока оригинальный текст не найдётся.

Он покончил с собой, будучи уверенным, что совершенный сонет уже прочитан, и тем самым сдержал слово. По его глубокому убеждению, искомый текст находился в самом сердце построенной паутины. У него ещё не было автора, а потому человеку не довелось подержать в руках манускрипт, на котором был бы начертан образчик. Но, умирая, исследователь понимал, что существует единственная версия, которая обладает абсолютным совершенством. Возможно, для его достижения достаточно соединить два известных варианта – тогда стоит лишь провести линию от одной вершины графа до другой и, поставив точку посередине, написать возле нее: «идеал». Если понадобится более сложная комбинация, то и в ней не будет ничего невообразимого, а значит, ничего из того, что не существовало бы и не было отражено в графе. Среди бескрайнего множества целых чисел найдётся бесконечно много тех, которые никогда не приходили в голову никому из живших людей. Также и комбинации текстов, преумноженные навыками переводчиков, могли породить сочинение, совершенства которого никто прежде не мог представить. И только

он, умерший сегодня, понимал это совершенство и, по собственной воле растворяясь в нём, растворял его в себе.

Неоднократно было сказано, что встреча с сонетом в автобусе стала судьбоносной для человека. Вряд ли теперь это может вызывать какие-то сомнения. Но и для самого поэтического текста она также имела значение, которое невозможно преувеличить. Дело в том, что ни один перевод не передавал правильно смысл последней строки. В оригинале же она гласила, что сонет никто и никогда не сможет записать, однако прочесть его возможно.

P. S. Отдельно следует сказать о способе, который человек избрал для того, чтобы расстаться с жизнью. Как бы ни было грустно возвращаться к этой теме, но незаурядность произошедшего требует особого упоминания. Вероятнее всего, это прозвучит кощунственно, но такой поступок может в чём-то даже служить примером. Трудно вспомнить ещё хотя бы одного самоубийцу, чья смерть в той же степени отличалась бы благородством и гуманностью. Впрочем, с другой стороны, иные определённо сочтут избранный путь чрезмерно жестоким, поскольку помимо самого героя погибли несколько сотен невинных людей, случайно оказавшихся рядом.

Судите сами. Рано утром человек сел в поезд, отбывающий в Петербург. Он закрыл за собой дверь купе, лёг на полку и уснул. Просто уснул. Внешне ничего заслуживающего внимания не произошло. Вскоре его попутчик, разместившийся на соседней полке, прочитал в утренней газете, что их поезд сошёл с рельс и выживших не было.

АСКЕТ

Путешествуя по Европе, в силу ряда обстоятельств я посетил городок Фужер, показавшийся мне одним из самых прекрасных в Бретани, если не во всей Франции. Будучи построенным вокруг крепости на склонах кряжа, Фужер – воплощение спокойствия, тишины, красоты и какой-то нездешней высшей справедливости. Справедливость заключается в том, что этот стратегически важный пункт на франко-бретонской границе чудом пережил долгие века войн и распрей за обладание им. Не менее фантастическим кажется и то, что, несмотря на бурную военную историю, город сохранил – или обрёл со временем – некое пацифистское умиротворение.

Преисполненный восторга от внезапного знакомства с Фужером, я, к несчастью, не мог задержаться в нём надолго и вскоре отправился в один из монастырей, расположенных неподалёку. У меня была назначена встреча с настоятелем. По прибытии же выяснилось, что тот был вынужден отлучиться до конца дня, однако передавал мне извинения за неудобства, просил дождаться его возвращения и предлагал остаться на ночь. Я воспользовался его любезным приглашением и, дабы скоротать время, попросил позволить мне прикоснуться к местной библиотеке. Монахи не отказали.

Мне и прежде доводилось посещать монастырские книгохранилища, оттого я был убеждён, что библиотеки при аббатствах едва ли

не самые интересные и феерические из возможных. Монастырь – приют и спасение не только для людей. Сколько ценнейших фолиантов и штучных рукописей пережило войны и спаслось от вандализма в одном Монте-Кассино!

Я спускался по пахнувшей плесенью лестнице, предвкушая неизбежный праздник случайного открытия, соприкосновения с тем, что невозможно предугадать. Когда дверь библиотеки отворилась передо мной, множество манящих, превосходных и редких изданий незамедлительно заиграло тиснениями на своих корешках. Меня сразу поразило уже то, что в католическом монастыре имелись книги самых разных религий и конфессий. Некоторое время я провёл в размышлениях об удивительном доверии настоятеля к своим монахам.

Почти машинально я перелистывал какие-то отдельные фолианты, пока моё внимание не привлекло шикарное издание Талмуда на английском языке. Взяв один из томов в руки, я увидел торчащую из него записку, сложенную втрое и написанную по-французски. Далее следует текст этого удивительного документа.

«И было утро, и был вечер, день... Каким по порядку мне следует считать сей день, определить затрудняюсь. Но вот уже более десяти лет каждую смену суток я приветствую этой фразой, и день, когда всё началось, помню превосходно. Ещё глубже мне в память запал тот, что предшествовал ему.

Всю свою жизнь я жил искусством, впитывал его с рождения, наслаждался им и решительно не видел возможности существования без вернисажей, спектаклей, книг и концертов. Наша семья была весьма состоятельна. Не сочтите это фанаберией, мы не из тех... Однако, будучи рантье, я удивлял соседей своими привычками, которые они за глаза называли беспечным транжирством, а при наших редких встречах – изысканностью. Каждый день я начинал с музеев, а заканчивал филармонией или театром. Я возвращался домой за полночь, имея при себе несколько новых книг, альбомов, картин, а иногда и музыкальных инструментов. Если приносил книги, то ночь проводил за чтением: отложить его на завтра, отдавшись в объятия Морфея, было совершенно невозможно, ведь готовящийся за окном рассвет сулил новые безотлагательные дары. Мне очень нравилось чувствовать, что ежедневно блаженство для меня готовила без устали каждая из восьми муз. Девятая же, Урания, меня не интересовала.

Не помню, когда я спал и спал ли вообще, но в надёжном замке, где прекрасное сопровождало меня, я чувствовал себя намного комфортнее, чем в современном высшем обществе, полном балов, устриц и промискуитета. Пусть все вокруг почитали мои увлечения и траты излишествами, для меня излишеством были окружающие: все вместе и каждый в отдельности, всякое напудренное и покрытое румянами лицо, на которое спадали кудри парика, отбрасывала тень шляпа или спускалось кружево вуали. Сам же я считал себя поглощённым полнейшим, неизбежным и безграничным аскетизмом.

Видите ли, если Богу угодно подарить вам счастье, он может сделать это множеством различных способов. И тот, что связан с женщинами, один из довольно ехидных. Мой же – особый, вовсе не мило-

сердный, но едва ли не самый чудесный. Дело в том, что Всевышний великодушно соизволил открыть мне вселенную, которая по всем параметрам превосходила Его творение. Последнее утверждение, как мне кажется, является одним из самых неоспоримых доказательств Его существования. Ведь этот жест по отношению ко мне требует безоговорочного наличия множества косвенных Его атрибутов, и более всего – божественной, всепрощающей милости. Если говорить, например, о литературе, то в бессчётном числе книг Он фигурирует не столько как Вседержитель, сколько как всего лишь один из эпизодических персонажей. В ещё большем сонме томов Его существование попросту отрицается. И уж совсем несть числа изданиям, которые не обращают на Него решительно никакого внимания. Что есть Его терпение к таким книгам, как не божественный аскетизм?!

Его решение не карать и не уничтожать нерадивых авторов, не поглощать все экземпляры подобных томов огненным столпом, а, напротив, позволить мне прочесть их, пьянит и внушает надежду на обоюдное доверие и даже уважение. Это одно из чувств, окрыляющих меня. Я бы и рад остановиться в приобретении книг, но их мир устроен так, что стоит купить одну, как она тянет за собой десяток других – полемизирующих с первой, рекомендованных ею, лёгших в её основу или с гневом отрицаемых и очерняемых. Нескончаемая пирамида текстов порой ужасает, поскольку если и есть на свете нечто бесконечное, то это именно она.

Не знаю, видел ли я сны. Как отмечалось выше, я даже не помню, как сплю, потому мать моих верных муз Мнемозина не подсказывала мне ночных видений. Но есть один кошмар, который посещает меня постоянно, уж не знаю, во сне или наяву. Я вижу, как стоящий на полке том Шопенгауэра «Мир как воля и представление», 1818 года издания, говорит: «Купи Канта, Платона и Упанишады». Руссо, Уильям Джеймс и Аль-Газали, стоящие рядом, выкрикивают другие названия, предлагая при этом сбыть куда-нибудь Шопенгауэра. Я люблю их всех, но они почему-то порой непримиримы друг к другу. Дикий гвалт не даёт мне сосредоточиться. Крикунов я не слушаю и не боюсь: настоящий ужас внушают мне те из них, которые шепчут... А ведь книги – это ещё не всё. Нет, я никогда не вырвусь из этого круга. Всю свою жизнь я проведу в тени этой пирамиды.

Нужно сказать, что подобные мысли нагоняют на меня тоску лишь тогда, когда я не читаю, не слушаю, не смотрю представления. Прикосновение же к художественному миру незамедлительно сметает ощущение бессмысленности этого процесса по причине его безграничности. Хотя по дороге с выставки домой или из книжной лавки на концерт, в экипаже или когда иду пешком, вопрос о том, зачем я этим занимаюсь и чего хочу достигнуть, не даёт покоя.

Посудите сами: например, форма кресла совершенно разумна. Она оправдана его назначением. Экипаж, фонарь, лошадиная упряжь – всё отвечает способу применения. Всё служит той или иной цели. Пятипалые руки, в свою очередь, даны человеку, чтобы делать эти и многие другие предметы. Ноги – опыт это подтверждает – достаточно удачное средство для перемещения тела. Четырёхметровая длина

кишечника обусловлена необходимостью всасывать питательные вещества в кровь. Форма отражает задачи и, главное, предназначение. Но разум?.. Зачем нам даны разум и возможность прикоснуться к отпечаткам мириадов других разумов? Не могут же все его бесконечные способности быть направлены лишь на то, чтобы придумать лошадиную упряжь!

Я должен признаться, что к подобным мыслям меня подтолкнул один конкретный инцидент из моего прошлого, случившийся в тот самый роковой день более десяти лет назад. Я поехал... вынужден был отправиться на день рождения к своему кузену. Все произошедшее положительно подтверждает моё мнение, что прерванный аскетизм не сулит ничего хорошего. Аскет должен пребывать в своей келье, а соблазны мира, даже если не кажутся таковыми на первый взгляд, выйдут ему боком. Тем не менее теперь сожалеть об этом уже нелепо.

Итак, я поехал в гости по двум причинам. Во-первых, там обещали представить венгерскую пианолу, которая пусть и не особенно интересовала меня, но могла бы скрасить воспоминания о неудачном и скучном времяпрепровождении. Во-вторых, моя любезная матушка попросила не манкировать роднёй в очередной раз и, более того, даже купила мне модный фрак для этого визита.

Ах, этот фрак... Признаться, сначала я не придавал ему значения, но потом стало ясно, что, надень я визитку или иной сюртук, возможно, тот день имел бы другой итог.

Появившись у кузена в упомянутом фраке, я произвёл настоящий фурор. Со всех сторон слышались возгласы:

- Ах, что за франт!
- Где вы нашли этот фрак? Да вы просто гений!
- Английский покрой!
- Уникально!
- Неповторимо...

Уникально... Неповторимо... Гений... Я, человек, который с одного взгляда отличает живопись фламандцев от валлонских художеств, который прочитал больше книг, чем все гости кузена вместе взятые, который слышит в музыке то, что ведомо лишь композиторам, оказался гением из-за какого-то фрака?! Разумеется, приехав домой, я незамедлительно бросил его в камин.

Ещё месяц до меня доходили слухи о том, каким денди с уникальным талантом в области вкуса я предстал в обществе... При чём здесь талант?! Талант Скарлатти позволил ему написать больше пьес для клавесина, чем любой другой композитор сочинил для клавишных вплоть до наших времён. Талант Шопенгауэра проявился в том, что он создал книги, говорящие со мной в моих кошмарах. А мой талант? В чём он? В том, что я, проведя тридцать лет среди прекрасного, изучив досконально историю многих искусств, по рассеянности и в силу безропотного характера надел предложенный матушкой фрак?!

Уже, кажется, полдень. Время утренней молитвы прошло. Тот день многое изменил во мне, оставив нетронутой лишь малую толику. Но в этой толике, к несчастью, был надёжно сохранён упоминавшийся

уже вопрос «зачем». На следующее утро я отправился в монастырь, чтобы стать послушником.

Живя здесь вот уже десять лет, я каждое утро начинаю с того, что вспоминаю тот день, но впервые решился записать свою историю, и вот по какой причине. Мне кажется, что я нащупал ответ на мучающий меня вопрос.

Для того чтобы вплотную подойти к нему, мне понадобилось отказаться от всего: от семьи, от капитала, от потрясающего парижского мира литературы, живописи, музыки и театра (причём вовсе не только драматического – я имею в виду также и оперу, и балет). Определённо, это стоило того, коль скоро я окажусь прав в своём дерзком предположении. Единственное, что меня смущает, – это его эфемерная простота...

В монастыре, будучи лишённым доступа к современной художественной литературе, я проводил всё свободное время (которого, должен признаться, выпадало на мою долю чрезвычайно мало) в местном книгохранилище (термином «библиотека» монахи не пользуются). Сократив свой литературный «универсум» до некоего вынужденного минимума, я быстро прочитал всё, что оказалось в наличии. Моя нескончаемая пирамида была подменена каменной коробкой монастырского собрания книг. Кроме всего прочего, большинство из имевшихся здесь трудов я прежде читал в миру.

Нужно отдать должное настоятелю: не уверен, что в каком-либо ещё из католических монастырей хранили и предоставляли монахам иудаистские, индуистские и исламские книги, а также тома, имеющие иную конфессиональную принадлежность. Вероятно, владыка рассчитывал на критическое прочтение этих трудов, тогда как для меня, не до конца отдававшего себе отчёт в цели своего пребывания в келье, все издания без разбора являлись лишь скромными источниками литературных радостей. Внове же было то, что теперь я мог прикоснуться к ним без спешки, не подгоняемый читательской жадностью. Простудировав их все единожды, я пошёл на второй круг, потом на третий и теперь уже сбился со счёта.

В очередной раз перечитывая Талмуд, я вновь наткнулся на давно знакомое слово «ламедвовник». Единоновременно на земле живут тридцать шесть ламедвовников. Эти люди, казалось бы, мало отличаются от остальных. Не будучи знакомыми между собой, они все как один бедны и праведны. Никто не может опознать их в толпе, но у них есть качество, ведомое только Богу. Дело в том, что в Его глазах именно эти тридцать шесть человек оправдывают существование всего мира. Подобно атлантам, которые поддерживают небосвод, ламедвовники принимают на свои плечи едва ли не большую ответственность: благодаря им, не ведающим своего назначения, Бог верит в людей.

Когда я прочёл о них в очередной – возможно, тридцать третий, тридцать шестой или семьдесят седьмой – раз, меня осенило! Всю жизнь я готовился к пониманию цели, для которой Господь избрал меня. Он позволил мне развиваться и расти над собой более полувек, чтобы потом, отказавшись от всего, я обратился в один из столпов, на которых стоит мир. Это открытие сделало меня окончатель-

но счастливым и радостным, поскольку, исходя из такой посылки, вся моя жизнь становилась гармоничной и полностью оправданной. В ней не оставалось таинственных белых пятен и событий, причины которых были бы мне не ясны.

Только одно смущает меня теперь. Дело в том, что, согласно Мишне, если ламедвовник узнает о своём божественном статусе, то он незамедлительно умирает, а его место в числе тридцати шести избранных – количество неизменно – занимает неведающий другой. Возможно, я всё ещё жив лишь потому, что нельзя определённо утверждать, будто я точно знаю о своей бытности ламедвовником. Можно предположить, что пока я только готовлюсь принять это удивительное звание, готовлюсь примириться с ним. Или всё-таки я уже принял его? В связи с этим единственный вопрос, который мучит меня в настоящий момент: жив я сейчас или мёртв».

На этом поразительная записка не заканчивалась. Далее следовало ещё несколько строк, написанных, видимо, позже, поскольку здесь использовались другие чернила и перо. При этом почерк был определённо тем же, но казалось, что писавший пребывал в существенно более нервном состоянии. Приписка гласила: «Я окончательно убедился в том, что моя жизнь не может иметь иного смысла, кроме ламедвовничества. Поскольку допустить её бессмысленности ни я, ни Всевышний не могли, единственный вывод, к которому толкают меня сложившиеся обстоятельства, заключается в том, что я уже мёртв. По этой причине я не вижу резона и возможности продолжать это письмо. Скорее всего, мой скромный труд – краткая история того, как я стал одним из божественных праведников, – окажется бесцельным и недоступным зрению простых смертных».

Внезапно в моей памяти всплыла очень старая вырезка из раздела объявлений газеты «Фигаро» (если я не ошибаюсь), которую мне прислал французский друг, литературный критик, имеющий представление о моей увлечённости мистическими и эзотерическими вопросами. Любезно присланное им объявление гласило: «Одинокий ламедвовник ищет тридцать пять своих товарищей». Впрочем, адрес для обратной связи указан не был, потому возможно, что приведённая выше история и объявление принадлежат разным людям.



**Василий
ШАБАНОВ
(1938–1975)**

ЗОВ ЗЕМЛИ

В заплатах весь,
Как тополь в листьях,
Я рос у жизни на юру.
Меня ветра учили выси,
Учили свету и добру.
Я знал приречные улоги,
Мы просыпались – я и день.
Я был подпаском – била в ноги
Росы студёная метель.
Мы собирали с дедом травы,
Шёл на заварку нам шалфей,
И никогда не знал потравы
Полей объездчик – дед Сергей.
Под небом зыбким и багровым
Мы зябкий делали привал...
И солнце – рыжую корову
Не я ль с пригорка поднимал?

ДЕД

Я об этом вспоминаю заново:
Ох, чудак же у меня был дед!
– Свет-Лукерья,
Здравствуй, свет-Ивановна, –
Говорил приветливо в ответ.
– Здравствуй, здравствуй,
Белая лебёдушка, –

-
- Василий Васильевич Шабанов родился в 1938 году в селе Родионовка (ныне Краснопартизанского района) Саратовской области. В 1956 году переехал в Саратов. Окончил филологический факультет Саратовского государственного университета. Работал в газете «Заря молодёжи», в литературно-художественном журнале «Волга». С 1969 года жил в Москве. Автор книг «Белая запруда», «Васильковое имя», «Близкие вёрсты». Был принят в Союз писателей СССР. Погиб в 1975 году. Посмертно были изданы книги: «Вратари», «Заката светлая звезда», «Позовите меня, трубачи!», «Васильковое имя. Избранное», «Тропа любви», «Ромашки на асфальте», «Родословная».

Говорил при встрече с молодой.
И глаза светились, словно вёдрышки
С ключевой синевой водой.
Он свои «сударыни», «царевны»
Прибавлял к певучести имён...
В доброту и ласковость деревни
С той поры навеки я влюблён.

308

Не увозите дедов в города.
Им никогда с асфальтом не ужиться.
Им будут сниться избы в два ряда
И та изба, где в уголке божница.
Не устоять им в мартовский дурман,
Когда ручьи сквозь землю прорастают.
Что люди-птицы из далёких стран –
На зов земли родимой прилетают.
...Они тоску перенесут молчком,
Но пожалейте, пожалейте дедов,
Им, выросшим на хлебе с молоком,
Не по душе изысканность обеда.
Когда в полях загомонит страда
И по деревням опустеют хаты,
Они умчатся мыслями туда,
Где тонет солнце в хлебные закаты.
Не увозите дедов в города,
Есть зов земли, надрывистый и жгучий...
Апрель. Асфальтом – полая вода.
Дед на песке внучонка сеять учит.

Какие песни мы поём,
Какими бродим перелесками...
Давно мы в городе живём,
В душе оставшись деревенскими.
Уже давно те слёзы вытекли
Прощальной радости-беды,
Уже давно ветрами вытерты
Лишь нам приметные следы.
Идут года с иной поклажею.
К нам всё добрее города.
Но через всё многоэтажие
Вдруг глянет в окна лебеда.
То вдруг плантация покажется,
Когда сквозь веток канитель
До окон листьями домашется
Белокочанная метель.
И подступает что-то горькое,
Когда, в огнях едва видна,

Плывёт бессмысленно над городом
Просёлкам нужная луна.
И в спор вступаем мы с соседями.
Им не понять нас, не простить,
Когда не к морю в отпуск едем мы,
А едем сёла навестить.
Не в сдобных пышках и не в сахаре
Нам детство видится своё.
Мы на себе познали пахаря
С солёным привкусом житьё.
И говорю не ради моды я:
Ты шире стал, мой сельский край,
Теперь деревней и заводами
Куётся вместе урожай.
Как мне найти слова возможные,
Какие двери растворить,
Чтобы с цветами придорожными
Асфальт горячий примирить?

Тогда мы ждали не скворцов,
Не их шальные трели.
Мы возвращавшихся отцов
Во все глаза смотрели.
Мы их смотрели дотемна.
На крышах восседали.
Дорога с Запада длинна,
И мы всё ждали, ждали...
Селенья встретили бойцов.
Мы знали все медали.
Но только не было отцов,
И мы всё ждали, ждали...
Опять осенние листья
Ветра метут к отрогу,
А материнские кресты
Всё смотрят на дорогу.

ЯРОСЛАВНА

Когда в пути душой ослабну,
Когда изменят силы мне,
Я вдруг припомню Ярославну
На мокрой, сумрачной стене.
Над ней тревожно тучи кружат,
Душа смятения полна:
Не донесёт ли весть о муже
Днепра зыбучая волна?
Но только ветра стон протяжный,
Дождей нервущаяся нить.
Как хочется палаты княжьи

На степь ковыльную сменить.
Там до утра не спят дозоры,
Там лады-русича глаза...
В какие реки и озёра
Впадает женская слеза?
О, немота подушек волглых,
Они туги, как удила...
Порой мне кажется, что Волга
Из глаз славянок натекла.

На всё есть время в жизни этой,
На все великие заботы.
И на далёкие планеты,
И на далёкие полёты.
На все нелёгкие маршруты,
На то, чтоб галстук завязать...
И не хватило лишь минуты,
Чтоб о любви тебе сказать.

Ты, чьё имя несу как святыню
До последнего, смертного дня,
Не в скалу, не в волну, не в пустыню –
Опусти, слышишь, в землю меня.
Поднимусь я цветами весною,
И всё то, что тебе не сказал,
Я скажу василька синевою
И росой, что чиста как слеза.
Пусть попьёт её птаха лесная,
Я сбирал эти росы во мгле.
Ты не плачь надо мной, золотая,
Это счастье – прожить на земле!
И цветы за решёткой стальнойю
От людей, золотая, не прячь.
Я хочу со степной стороною
Слушать песни, и говор, и плач.
Видеть радость свиданья и муки,
И обиды, и тёплую грусть...
Пусть сорвут меня девичьи руки,
Я к ним сам синевою дотянусь.
И увижу, как очи лучатся.
И не страшно потом умирать,
Умирать за людей – это счастье...
А весной поднимусь я опять!
Ну а если возврата не будет,
Если в жилах не хватит огня?
Только знать бы:
Хорошие люди
Той весною сорвали меня.



**Николай
БЕСЕДИН**

ЗАКЛИНАНИЕ СТАРЫХ МОГИЛ

1

Шали медленно освобождался от тягучей липкости сновидения. Вначале он увидел уголок окна, потом всё окно, окрашенное в серый тяжеловесный цвет, потом стол и кровати, кровати...

Шали перевёл взгляд на ближнюю кровать, где лежал тяжелораненый швед Соберг, и увидел, что он с головой укрылся белой простыню.

«С чего бы ему так укрываться?» – подумал Шали. И тут же внезапно понял: Соберга больше нет. Есть его труп, который вот-вот должны унести санитары.

И действительно, почти тут же пришли два пожилых санитаря, смахивающих на сирийских туркмен, и унесли Соберга на носилках.

«Вот и ещё одного не стало. Хороший был волонтер, отзывчивый и смелый. На родине у него остались мать с младшей сестрой. Интересно, как сообщат о его гибели? Или никак? Странно, что Соберг никогда не говорил, есть ли у него девушка».

Запоздало почувствовался трупный запах. Шали подумал, что его не должно быть, прошла только ночь, как умер Соберг. Нервы ни к чёрту. Пора бросать эту горестную работу.

Он всё ещё лежал на кровати, думал о судьбе таких, как Соберг, о себе, о бесконечных жестоких войнах то там, то здесь, о деньгах, которые ему должны заплатить за ранение сверх положенных по контракту. Рана, признаться, была пуштыковая, бывает и похуже, как у Соберга,

-
- Николай Васильевич Беседин родился в 1934 году. Окончил мореходное училище и Литературный институт им. М. Горького. Работал в Институте ядерной физики им. Курчатова, Госплане СССР. Автор сборников «Цветы на скале», «Слово о флоте», «Готовность», «Язычники», «Я написал: «Прощай», «Третья чаша», «Русский псалтырь», «Вестник», «Земные знамения» и других. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

но если предусмотрено, что за ранение в боевых условиях положено платить, то не важно, какое ранение, – деньги на бочку.

Потом он стал думать о завтраке, что бы ему хотелось, как почти тут же подошла санитарка, укутанная в белый балахон, закрывающий всю её, кроме глаз, по которым Шали понял, что ей вряд ли больше тридцати. Она сказала на скверном английском:

– Сэр, что вам принести?

– А что у вас есть?

В другой раз Шали перекинулся бы с ней фривольной шуткой, но сегодня, после того, как не стало Соберга, он был настроен мрачно. Санитарка назвала сок манго, рис и лепёшки.

– Принеси сок и лепёшку.

Едва она ушла, как пришла другая и стала перестилать кровать Соберга.

«Значит, – подумал Шали, – будет пополнение. Хорошо бы француз, а то я скоро разучусь говорить на родном языке».

К вечеру с помощью солдата-араба приковылял среднего роста блондин лет сорока, с ногой, забинтованной по самый пах. Шали подмывало спросить, откуда он, сразу же, как только он лёг в постель, но это ему показалось неприличным, и Шали дождался ужина, когда им принесли по тарелке мжаддары и по нескольку абрикосов.

– Откуда, приятель, занесло тебя сюда? – спросил Шали по-французски как можно деликатней, хотя он этому почти разучился.

Сосед ничего не ответил, и Шали повторил вопрос по-английски.

– Из Дери. *(Так зачастую наёмники называли город Дерья.)* Откуда же ещё? – на плохом английском ответил сосед. – Роберт, – протянул он руку Шали.

– Шали. Вы немец?

– Нет. Поляк из Кракова.

– А я думал, что вас привезли из Абу-Кемаля.

– Не люблю пустыню. Лучше сидеть на раскалённой сковороде, чем воевать в песках.

– Значит, вы из оппозиционных? Как же вас привезли сюда, в сирийский госпиталь?

– Так уж вышло, – грубовато ответил сосед и принялся за ужин.

Наскоро проглотив его, Роберт, как бы извиняясь за несдержанность, предложил:

– Давай, приятель, обращаться попроще. Мы же не вонючие дипломаты, чтобы строить из себя аристократов.

– Согласен, – улыбнулся Шали, – я тоже так думаю.

– Ты давно здесь?

– Десять дней. Обещают через пару недель поставить в строй. Рана так себе, но могло быть и хуже, если бы не повезло. Главное – осколок не задел сустав, хотя и вырвал из предплечья кусок мяса.

– Вот и у меня пуля прошла насквозь под самым задом. Если бы не большая потеря крови и потеря сознания, я вряд ли оказался бы здесь. Думаю, что со мной не будут долго возиться.

– Ну да. Здешние хирурги умеют латать дыры в теле и отрезать лишние части. А если что посложней, то отправляют долечиваться к Господу Богу, как шведа, который лежал на твоей кровати ещё вчера.

Шали замолчал, устав от столь долгого разговора, да и Роберт был тоже не прочь помолчать.

Перед сном медсёстры осмотрели их повязки, сделали уколы и заставили выпить какую-то горькую жидкость.

Ночь наступила мгновенно. Шали никак не мог привыкнуть к почти внезапному наступлению темноты. Вот, кажется, только что было ещё светло, а через пятнадцать минут ночной мрак полностью поглощал окрестность. Как будто опускал кто-то чёрные небесные шторы. Жизнь практически замирала, особенно здесь, в госпитале, и только бесшумные тени медсестёр да редкие стоны раненых нарушали ночной покой.

Шали лежал и думал, что делать дальше, когда он выйдет из госпиталя.

Гражданская война в Сирии затягивалась и становилась всё кровавей. Увеличился поток беженцев из крупных городов, и помогать им переносить тяготы их неизбежного ухода из родных мест в соседние государства становилось всё тяжелее и опаснее. Их толпы, где в основном были старики, женщины и дети, понуро идущие по дорогам пустыни с навьюченными животными или тележками со скарбом, бомбили и обстреливали оппозиционные войска.

Шали видел разорванных в клочья детей, старух, проклинающих убийц, и тупо, бессмысленно глядящих себе под ноги седых стариков.

Когда он вступил в ряды волонтеров Международного Красного Креста, он попросил направить его в Сирию. В немалой степени Шали привлекало прошлое этой страны, и её нахождение когда-то в составе Франции, и победы генерала Шарля де Голля в войне с фашистской Германией здесь, на полях Сирии, и непримиримость сирийцев к Израилю, захватившему Голландские высоты, и отношение правительства Асада к своему народу. Правда, о последнем он узнал здесь от местных жителей. По закону им полагались бесплатное образование, медицинская помощь, и даже пенсия умершего главы семьи выплачивалась его жене или детям, если жены не было. Шали сперва даже не поверил этому, но всё оказалось правдой.

Ему нравились простые люди – сирийцы, хоть курды, хоть арабские туркмены и черкесы, и армяне, и то, что в городах встречались католические храмы.

И всё же видеть горе и смерть этих людей становилось совсем уже невмочь. В конце концов всем не сможешь.

Он и так отдал этому два года, и теперь с чистой совестью может вернуться в свой родной город Гере, в родительский дом. И если встретит хорошую девушку, то и женится. Денег должно хватить и на свадьбу, и на небольшое дельце в Лиможе.

Слава Богу, что ранение оказалось неопасным, но больше испытывать судьбу ему не хотелось. Уснул он с лёгкой душой и твёрдым решением вернуться во Францию.

Дня через два Шали и Роберт говорили между собой как старые приятели.

Роберт рассказал, что он ещё во время службы в армии познакомился с ребятами, которые, уйдя в запас, через какую-то фирму в Кракове заключили контракты по оказанию военной помощи в стра-

нах Ближнего Востока. Деньги обещали хорошие, да ещё сверхконтрактные за выполнение особых заданий.

– Они рекомендовали меня, и я был отправлен в Ливию инструктором. Сперва чуть не сдох от тоски, обучая тупых азиатов владению оружием. Но однажды напросился на особое задание. Я уже знал, что это такое. И после уже не мог жить без вылазок в тыл противника, засад, коротких схваток, когда перестаёшь чувствовать страх, а кровь врага опьяняет и действует как наркотик. И убийство становится просто работой, как любая другая. И не важно, что иногда большая часть группы не возвращалась. Ты жив – значит, победил.

У Роберта в глазах, когда он говорил об этом, поблёскивали желтоватые точки, как бывает у собак, когда они рычат на чужого.

– Мне везло, – говорил он, – пока однажды в пылу боя не ранил случайно своего командира. Меня вернули в инструкторы, а потом и вовсе предложили Сирию. Я не представлял себе, что буду делать в Кракове, и согласился пойти в оппозиционную армию наёмником. Постепенно азарт боя вернулся ко мне, и всё стало о'кей, как говорят наши друзья-американцы.

Шали не понимал, шутит Роберт или нет, и осторожно спросил:

– Ты разве не видел, кого вы убиваете? Ты не видел разорванных минами детей и обезображенных женщин? Разве это может опьянять?

– Война есть война, а я просто солдат.

Шали, который посмотрелся этих ужасов, не стал продолжать разговор.

И в дальнейшем по молчаливому согласию они избегали разговоров о войне. И всё же однажды Шали сказал, как бы между прочим, что он признаёт участие только в справедливых войнах.

Через неделю им разрешили выходить на прогулку в прилегающий к госпиталю сад – уголок Гуты, зелёного пояса вокруг Дамаска. И всегда на небольшом отдалении маячил солдат регулярной армии.

Немного пройдясь по аллее, Шали и Роберт садились на скамью в тени оливкового дерева и рассказывали о своей жизни на родине, но чаще молчали, думая каждый о своём.

Во время очередного молчания Шали спросил однажды:

– Ты умеешь созерцать мир?

– Что это такое? Я вижу: вот дерево, вот идёт человек, там, дальше, госпиталь, трава и цветы на газонах... А созерцать... Я и слова такого не знаю.

– Учитель Ашур мне говорил: «Тот, кто не умеет созерцать мир, тот живёт напрасно». Я с ним познакомился здесь, в Сирии, когда мы несколько дней жили в небольшой деревне, ожидая колонну с продовольствием.

Вот посмотри: на скамье лежит каштан. Вглядишься в него, отмечая, какого он цвета, формы, что у него есть трещинка. Затем переведи взгляд на ствол оливкового дерева, и ты найдёшь на нём похожие трещинки, и цвет, а после посмотри на тропинку, что уходит от скамьи налево, и на ней будет что-нибудь общее с каштаном и деревом. Постепенно, переходя с одного на другое, ты увидишь их общность. Мир неделим. Он принадлежит всем: каштану, дереву, тропин-

ке, тебе... И ты в нём как часть целого, которое нельзя разрушить, не повредив себе.

Роберт рассмеялся:

– Большой фантазёр твой учитель Ашур. Если я займусь этим самым созерцанием, то меня тут же уколошит какой-нибудь расторопный араб. Может быть, с девушкой на природе и можно этим заняться, если другого не умеешь делать.

Шали не стал защищать учителя, а продолжал с той же убеждённостью в истине его слов:

– И ещё говорил учитель Ашур, что время к нам приходит из прошлого, и тот, кто умеет понимать знаки, которые оно посылает нам, тот владеет будущим. Нельзя клясть прошлое, чтобы тебя не прокляло будущее. И нужно его знать и помнить. Вот, например, ты помнишь своих предков?

– Каких предков? Отца и мать?

– Ну, их-то, я надеюсь, ты помнишь. А деда, прадеда, прапрадеда? Как они жили, чем занимались, где их могилы..

– Слушай, Шали, какая муха тебя укусила или этот Ашур зашаманил? От этих азиатов всего можно ожидать.

Роберт поднялся со скамьи, потирая зажившую почти рану.

– Давай лучше пройдемся. Это полезнее, чем говорить о могилах предков.

– Как знаешь... – Шали не скрывал лёгкой обиды на поляка. – Неплохо бы знать, посмотреть хотя бы на те места, где похоронен твой прапрадед. Может, это помогло бы лучше понять настоящее?

...Прошла ещё неделя. Врач, осматривая рану Шали, сказал что-то на сирийском и улыбнулся, похлопав по розоватому шраму на предплечье. А часа через два пришла женщина, представительница Красного Креста, и почти официальным тоном сказал, что лечение благополучно завершено и Шали может вернуться в свою группу или домой, во Францию.

– Мадам, я много думал о том, куда мне возвращаться, и решил, что мне не помешает небольшой отдых на родине.

Женщина сочувственно улыбнулась, взгляд потеплел, однако тон разговора не потерял своей строгости:

– Я так и предполагала. Вы, должно быть, устали от войны. Это естественно. Поэтому я приготовила для вас все необходимые документы. Правда, самолёты в Европу летают крайне нерегулярно, можно долго прождать случая. А вот в Москву летают почаще. Подумайте, как вам поступить.

– Спасибо, мадам. Я подумаю.

Женщина передала Шали пакет с документами и величественно удалилась в сопровождении медсестры.

После отбоя приятели долго не могли уснуть, ворочаясь и вздыхая, но почти не разговаривали, думая о предстоящих проблемах.

Шали в конце концов решил лететь в Москву, и главной причиной этого выбора было желание посмотреть на те места, где воевал и погиб его знаменитый прапрадед, командир полка императорской армии Наполеона Бонапарта. Слова учителя Ашура о влиянии про-

шлого на будущее запали в душу Шали и то и дело вновь и вновь занимали его мысли.

«Нет, – решил он, – я всё-таки должен увидеть те места, где покоятся косточки моего предка». И тут же ругал себя: что я привязался именно к нему? Разве мало других на кладбищах Франции? И всё же он не мог освободиться от странного предчувствия, что эта поездка повлияет на его дальнейшую судьбу.

У Роберта обстояло всё проще: сирийский офицер сообщил ему, что если он подпишет клятвенное обещание не воевать против Сирии, его просто депортируют из страны. Если же он такого обещания не даст, то его поместят в тюрьму как военнопленного.

Выбора не было. Конечно, свобода. И Роберт зло добавил:

– И пошла она к чёрту, проклятая война!

При прощании он сказал Шали:

– Значит, по домам. Прощай, оружие! Как сказал один любитель острых ощущений. Ну, а ты что решил?

– Не знаю. Но, скорее всего, я поеду посмотреть, где покоятся косточки моего предка. В Москву. А там разберусь.

Роберт от неожиданности свистнул:

– Знаешь, если бы я занялся такими поисками, то мне пришлось бы обшарить пол-России и в придачу часть Европы. Мои предки только и делали, что воевали и в основном с Россией. Так что желаю удачи. Не мешало бы нам, Шали, выпить на прощанье хотя бы араки. О виски я уже изрядно подзабыл.

– Да, – отозвался Шали, – я тоже не прочь выпить чего-нибудь покрепче. Всё-таки госпиталь лечит не только тело, но и душу. И, может быть, мы ещё встретимся как старые приятели за столиком уютного рестораника.

– Вряд ли. Я не могу тебе этого обещать, хотя ты и хороший парень и пришёлся мне по душе. Но жизнь, Шали, гениальный комик, и не знаешь, что она выкинет.

На том и расстались два человека, выбравших совершенно разные пути и тем не менее связанных общей судьбой живущих на Земле.

2

В Московском аэропорту Шали встретила высокая длинноволосая девушка в лёгкой курточке, державшая в руках картонку с его фамилией.

Они познакомились, и Шали узнал, что Ольга представляет Красный Крест России, который входит в Международный комитет Красного Креста. Ольга сказала, что их предупредили из Дамаска и попросили помочь французскому волонтеру в его розысках.

Машину вела сама Ольга и попутно рассказывала о Москве и её достопримечательностях. Стояла прохладная тихая осенняя погода, но даже сплошная облачность не могла приглушить краски своеобразной красоты старой Москвы.

Время от времени они попадали в плотный поток машин и двигались не быстрее пешехода.

«Совсем как в Париже после рабочего дня, – подумал Шали, – есть что-то общее в больших городах».

Гостиница оказалась вполне приличной, с информационными указателями на двух языках – русском и английском, и это помогло Шали ориентироваться и после отъезда Ольги. Перед уходом она сказала, что утром за ним приедут, а сегодня надо отдохнуть с дороги.

Шали поужинал в ресторане, разменяв доллары на рубли, принял душ и блаженно окунулся в прохладную свежесть просторной постели.

Утром его разбудил телефонный звонок, и немолодая женщина сказала на французском, что через час приедет машина, чтобы привезти его в офис Красного Креста, где и будет составлена программа его пребывания в Москве.

Шали подумал, что часа будет, наверно, мало для сборов. К тому же ему хотелось купить что-нибудь потеплее его рубашки и свитера. На улице было вряд ли больше +10°C. Это не Дамаск, где хватало одной рубашки.

И действительно, душ и лёгкий завтрак в ресторане заняли почти час.

Едва он вернулся в номер, как снова позвонили, теперь уже молодая женщина сказала, что на стоянке гостиницы его ждёт тёмно-синяя «Тойота» с номером А50599.

На этот раз в машине были водитель и девушка, которая говорила на английском похуже Ольги.

Шали пошутил, что Ольга вчера, наверно, устала от него и от работы одновременно водителем и экскурсоводом.

– Нет, просто у неё другие дела. А меня зовут Настей, и я буду сопровождать вас в поездках. Водителя зовут Алексеем, можно просто – Лёша, он ещё молодой.

Лёша повернулся вполоборота и улыбнулся, сказав что-то по-русски.

До офиса добрались быстро, и Настя провела Шали в просторный кабинет, в котором за большим письменным столом, уставленным экранами, какими-то безделушками и стопками папок и бумаг, сидела пожилая женщина, очень просто и строго одетая. Она поднялась навстречу Шали и мило, по-домашнему, поздоровалась на французском.

– Ко мне будете обращаться: мадам Мария Викторовна или просто – мадам Мария.

Потом были вопросы: как долетели; как чувствуете себя, не беспокоит ли рана; хорошо ли устроились в гостинице; не холодно ли вам в Москве, ведь уже осень и без тёплой одежды не обойтись, а на вас только рубашка и свитер; не нужна ли помощь в денежном вопросе; не хотите ли позвонить родным...

Шали был в растерянности от такого внимания к себе. Может быть, не за того принимают? Он просто волонтёр – добровольный помощник несчастным жертвам войны. Нигде такого внимания к себе он не встречал.

– Итак, мсье Шали, какие ваши планы? – спросила Мария Викторовна. – Мне сказали, что в 1812 году ваш предок воевал в составе наполеоновской армии.

– Да, мадам Мария. Я понимаю, что места захоронения не найти, но в нашем роду говорили, что он погиб в большом сражении под

Москвой на каком-то поле. Мне бы хотелось увидеть это поле. И больше ничего. Я расскажу дома, что там сейчас.

– Я думаю, что это Бородинское поле. Там действительно было самое большое сражение той войны. И оно недалеко от Москвы. Мы дадим вам машину с водителем и экскурсоводом, и вы сможете увидеть место, где погиб ваш предок. Кроме того, я бы рекомендовала посетить Бородинскую панораму в Москве. Там вы, может быть, увидите своего предка с саблей в руках.

– Нет, мадам Мария, он был артиллеристом.

– Ну, это неважно. Теперь давайте решать проблемы, о которых я вам сказала.

Когда они уже заканчивали разговор, в кабинет вошла молодая женщина, сразу обратившая внимание на Шали. Она прервала фразу, с которой вошла в кабинет, и только после короткого молчания снова продолжила её.

Шали ничего не понимал и только глупо улыбался, глядя на женщину.

Мария Викторовна лукаво посмотрела на вошедшую.

– Что же ты стоишь? Садись рядом с мсье Шали, он только вчера прилетел из Дамаска. Знакомьтесь: это наша спасительница детей в Донецке, где сейчас идут бои. Она привозит тяжелораненых в Москву на лечение и скоро опять улетает в Донецк.

Шали протянул руку и представился, задержав слегка руку женщины.

Она ответила по-французски:

– Очень приятно. Меня зовут Татьяной.

– Я чрезвычайно рад, мадам, нашему знакомству, очень рад, – несколько раз повторил Шали.

– Мадемуазель, мсье Шали. Увы, так.

– Я рад ещё больше, – смутился француз.

Татьяна обратилась к Марии Викторовне, и они стали говорить о чём-то по-русски.

Шали продолжал сидеть, он был не в силах уйти от этой удивительной мадемуазель с тёмно-голубыми глазами и стройной фигурой, которая угадывалась под её удлинённым плащом.

Мария Викторовна, закончив разговор с Татьяной, снова обратилась к Шали:

– Мы обо всём договорились. Если будут вопросы, обращайтесь ко мне, – она протянула визитку, – а сейчас отправляйтесь во французское консульство, а потом... словом, Настя вам поможет в ваших делах. До свидания!

– До свидания, мадам Мария! Я вам очень благодарен за внимание, за...

Шали не знал, как принято у русских благодарить, и закончил шаблонными словами:

– За ваши советы, за помощь...

Он вышел в приёмную. И только тогда Мария Викторовна вполголоса сказала Татьяне:

– Смотри, девочка, будь осторожней. Эти французы известные ловеласы.

– Что вы, Мария Викторовна, с чего вы взяли?

– Да уж взяла!.. Ну иди. У тебя ещё много дел. А в Минздрав я позвоню. Всё будет улажено.

Шали как будто ждал Татьяну, сразу же подошёл к ней и стал рассыпаться в любезностях:

– Вы так хорошо говорите по-французски, мадемуазель Татьяна. Вы учились или жили во Франции?

– Нет. Я изучала французский язык в институте, а потом с помощью Марии Викторовны. В Донецк я напросилась волонтером, чтобы помогать раненым детям. Вы слышали о Донецке?

Шали как будто вдруг вернулся на развалины дома в сирийском Абу-Кемале, где лежали трупы четверых детей, изуродованных взрывом мины. Он впервые тогда произнёс проклятие убийцам, обратив искажённое гневом лицо к небу. И сейчас после слов Татьяны дрожь охватила его, и он не смог сразу ответить на её вопрос:

– Что с вами?

Наконец, успокоив себя, он коротко ответил:

– Так, ничего. Воспоминания.

Подошла Настя.

– Мсье Шали, вы готовы ехать?

– Да. Только ещё минуточку, и я буду у машины.

Он снова обратился к Татьяне, смущённо улыбаясь, как будто в чём-то провинился перед ней.

– Я бы очень хотел увидеться с вами. Может быть, вы покажете мне панораму? Или мы поужинаем сегодня вместе? Не бросайте меня одного в Москве.

Татьяна ответила подчёркнуто сухо:

– Во-первых, у вас есть Настя. А во-вторых, сегодня у меня много дел, а завтра не знаю, как сложится. Позвоните. У Насти есть мой телефон.

Шали не мог, не хотел остаться в неопределённости. Он продолжал искать возможность встретиться.

– А где вы остановились, мадемуазель Татьяна? Наверно, у друзей, у вас их так много.

Татьяна улыбнулась, поняв уловку Шали, но не стала изменять своему правилу: говорить всегда правду.

– Друзей у меня, как, видимо, и у всех людей, немного. Но чтобы не стеснять их, я остановилась в гостинице... – И машинально произнесла название отеля.

– Я тоже там проживаю! – обрадовался Шали. – Это знак судьбы. В это нельзя не верить. Вы согласны?

– Не знаю. Это сложный вопрос. До свидания, мсье Шали. Вас ждут. Мой номер в гостинице 512.

И она пошла по коридору в противоположную сторону от выхода.

...В машине, подъезжавшей к французскому консульству, Шали спросил Настю:

– У вас все говорят на каком-нибудь иностранном языке. Я такого ещё не встречал.

– Что вы, мсье Шали! Это большая редкость даже в Москве. Просто в нашей организации часто приходится работать с иностранцами,

поэтому подбирают таких людей. А Мария Викторовна вообще свободно владеет пятью языками.

– Значит, мне просто повезло. Это тоже хороший знак, правда? – И он весело рассмеялся.

В консульстве довольно долго расспрашивали Шали о Сирии, как он туда попал, в какой группе Красного Креста работал, просили назвать несколько фамилий и сказать, какие у него дальнейшие планы. Потом попросили подождать в соседней комнате.

Минут через сорок ему вручили временное удостоверение сотрудника консульства и пластиковую банковскую карточку.

– Надеемся, это поможет вам передвигаться без больших затруднений. Как только решите ваши проблемы, зайдите к нам сдать удостоверение и получить билет на родину, по которой, думаем, вы соскучились.

– Всё, теперь я вольная птица на целых две недели, – сказал он Насте. – Теперь едем к панораме.

Машина вначале петляла по узким улочкам центра Москвы, но потом выехала на просторный проспект с красивыми домами по сторонам и вскоре остановилась у круглого здания на небольшой площади, посреди которой возвышался памятник фельдмаршалу Кутузову.

Они вошли внутрь, и Шали сразу почувствовал приглушённую торжественность, исходящую почти от всего: молчаливо-приветливых служащих панорамы, старых картин на стенах, старинной мебели, лестничных маршей... После прохода через контроль Настя увлекла Шали в правую часть первого этажа, где висели картины батальных сцен, портреты людей эпохи Александра I, образцы оружия, амуниции солдат и генералов, предметы быта...

Шали привлекли портреты Кутузова, Наполеона и Александра I.

Настя рассказывала обо всём, но Шали торопился увидеть скорее панораму самого сражения, и они поднялись на смотровую площадку.

Шали остолбенел. Вокруг него раскинулись сцены знаменитого сражения: шли в атаку или отбивались пехотные полки, летели всадники с поднятыми саблями, стояли в ряд пушки, горела изба почти у его ног, торопились штабисты с донесениями, то там, то здесь шли рукопашные схватки, а вдаль темнел лес и свинцовым блеском светилась вода небольшой речки.

– Я ничего подобного не видел, – наконец тихо произнёс он, глядя на Настю. – Расскажите мне, что это такое и где французская армия, где русские и чем закончилось это сражение?

Настя подозвала дежурного сотрудника музея и объяснила ему, что хочет узнать мсье из Франции.

Настя переводила рассказ пожилой, опрятно одетой женщины, которая переносила огонёк лазерной указки с одного места на другое и сама не отрываясь смотрела на грандиозную картину Бородинского сражения.

– А что это за всадники в странных головных уборах? – спросила Настя.

– Польская дивизия лёгкой кавалерии. Она воевала в составе французских войск.

Настя перевела Шали, и он вдруг рассмеялся:

– Один поляк говорил мне, что они всегда воевали с Россией. Видел бы Роберт своих предков и чем это закончилось для них. А где стоит французская армия?

И красное пятнышко указки уткнулось в ряд пушек за оврагом, и около одной, только что выстрелившей, судя по дымному облачку около пушки, Шали увидел офицера, который мог быть его прапрадедом, полковником, погибшим в этом сражении.

Странное чувство охватило Шали: с одной стороны, гордость за соплеменников, одержавших в этой битве пусть Пиррову, как говорят, но победу, а с другой – вину за развязанную Наполеоном нелепую, несправедливую войну с Россией, закончившуюся крахом французской армии. Его предок выполнил до конца свой долг офицера, но ради чего он погиб?

Обо всём этом Шали думал, возвращаясь в гостиницу. Но едва он вошёл в номер, как мысль о Татьяне вытеснила все другие.

Было шесть часов вечера. В справочнике Шали нашёл телефон номера Татьяны, но решил, что звонить ещё рано, вряд ли она вернулась в гостиницу.

Он включил телевизор. В одной из программ показывали разрушенные дома, убитых людей и труп девочки, сжимающей в руках куклу. Он не понимал, что говорит ведущий программы, что отвечают ему, но по различным признакам понял, что показывают войну в Донецке. Шали смотрел и думал, что война имеет везде одно и то же лицо: горе и смерть, разрушение и отчаяние написаны на нём. А гражданская война умножает трагедии и бессмысленность жертв. Он видел вплотную лицо гражданской войны, искажённое злобой и ненавистью к своим ближним. Он продолжал смотреть эту программу, надеясь, что покажут волонтёров, спасающих детей.

Так прошло почти два часа. На всякий случай он всё-таки позвонил в 512-й номер. К его радости, Татьяна уже вернулась и после короткого раздумья согласилась пойти поужинать в ресторан с Шали.

Потом, через много дней, в состоянии невесомости между жизнью и небытием, он в минуты просветления сознания будет видеть именно эти мгновения: вот открываются двери лифта, и она выходит в нарядном длинном платье с широкими рукавами, делает шаг, потом другой и ещё несколько шагов, у неё строгое выражение глаз, и только в глубине их светятся радужные искорки, она протягивает руку, на которой нет никаких украшений, и только тогда улыбается и говорит:

– Здравствуй, Шали!

Именно так, а не «мсье Шали». Потом берёт его под руку, и они медленно идут по огромному вестибюлю, и на них смотрят, пока они не входят в двери, над которой сияет зелёная надпись «Ресторан».

Когда они сидели за столиком и говорили, и спрашивали друг друга, и рассказывали о себе, Шали потерял ощущение времени. Всё слилось в один чувственный поток блаженства, в котором каждое слово и каждый взгляд имели тайное значение, и понять это значение можно было только сердцем, но не разумом. Этот поток выносил их иногда на берег реальности, где они обретали способность обсуждать, что будет завтра и потом, но поток снова подхватывал их и уносил в водоворот необъяснимых чувств.

...Выйдя из ресторана, они расположились в удобных креслах вестибюля, и Шали снова вернулся к планам на ближайшие дни:

– Завтра я поеду на Бородинское поле. Ты действительно не сможешь поехать со мной?

– Нет, не смогу. Мне многое нужно успеть сделать завтра, чтобы выехать послезавтра в Донецк.

– Пусть так, но я поеду с тобой.

– Это невозможно, я не могу взять на себя ответственность за твою безопасность. К тому же тебя просто не пустят на пункте пограничного контроля.

– У меня удостоверение сотрудника консульства. Вот посмотри! Ведь ты говорила, что там среди представителей Совета Европы есть французы.

– Да, есть. Но они прошли регистрацию как официальные наблюдатели.

– Я уверен, что договорюсь с пограничниками. Я должен увидеть своими глазами, что происходит в Донецке. И мне страшно за тебя. Я обязательно поеду с тобой.

– Нет, Шали. Я не могу взять тебя.

– Тогда я поеду один.

И они снова и снова убеждали друг друга каждый в своей правоте.

Наконец Татьяна сказала:

– Уже поздно. Я устала и пойду в номер. Перед завтрашним днём нужно отдохнуть. И тебе тоже.

Шали проводил её, но зайти в номер она не разрешила.

Придя к себе, Шали позвонил ей:

– Спокойной ночи, любимая!

– Спокойной ночи, Шали!

...Утром машина пришла рано, в девять часов, и Настя позвонила:

– Мсье Шали, вы готовы ехать в Бородино?

– Я готов ехать хоть на край света, лететь на Луну, на Марс и даже дальше, – Шали не хотел скрывать своего хорошего настроения, которое, чёрт возьми, не так уж часто было у него за последнюю пару лет.

Дорога показалась недолгой, с неожиданными впечатлениями: состояние дорожного покрытия, которое, вопреки распространённому мнению, было не хуже, чем в Европе, а вид многочисленных коттеджей назойливо бросался в глаза показной роскошью и архитектурным кичем.

Но более всего неожиданным оказалось само Бородинское поле. Зажатое между жилыми постройками и лесом, в переплетении дорог и дорожек, оно походило на связанного пленника.

Шали смотрел на знаменитое место, где сошлись в смертельной схватке две великие армии начала девятнадцатого века, и странное чувство охватило его: ему показалось, что он уже был здесь, но тогда поле было другим, более похожим на то, которое на панораме. Он мысленно убрал дороги и постройки, наполнил мутной, с красными пятнами водой русло речки – и поле ожило в его памяти орудийным грохотом, взрывами и свистом ядер, истошными криками и ржанием коней, ружейными залпами и дымом.

Задвигались какие-то большие и малые серые тени, и он ощутил горьковато-приторный запах и вязкий солоноватый привкус во рту.

Да, он был здесь. Если подойти вон к тому бугру, то там будут траншея и бруствер, за которым стояли орудия. В этом чувстве ирреальности он забыл, зачем приехал сюда. Голос Насти прозвучал будто из другого мира:

– Мсье Шали! Вы, наверно, устали и не слушаете меня.

Он очнулся и отрешённо ответил:

– Да, Настя. Я слушаю прошлое.

– Подойдите, я покажу памятник французским солдатам.

Но сначала они направились к величественному памятнику русским воинам, павшим за Отечество, обошли более скромные – в память о сражавшихся здесь полках, батареях, местах героических сражений русской армии, и только потом подошли к невысокой стеле, увенчанной одноглавым орлом, на которой была надпись на французском языке: «Мёртвым великой армии».

Шали снова погрузился в раздумье. Учитель Ашур говорил, что наша душа приходит в родившуюся плоть с памятью о прежней нашей жизни. Но только очень редко, может быть, всего несколько раз в новой жизни она приоткрывает окошечко в жизнь прошлую, чтобы человек осознал что-то важное в своей судьбе и исправил её во спасение своей души.

Не случайно у многих народов существуют особые дни посещения могил предков, когда их души, по преданию, наиболее открыты для духовного общения с живыми.

И ещё говорил учитель Ашур, что души умерших обитают вблизи праха своей плоти до самого судного дня, когда и решится их участь. Если они видят человека родного им по крови, то приближаются к нему, принимая вид живых существ – птиц, бабочек, жуков, пчёл... И тогда человеку передаётся наследственная аура через энергетические флюиды этих существ.

Может быть он забыл какие-нибудь подробности, но суть, кажется, такова.

Шали стал вглядываться во всё, что его окружало, и увидел странную птицу, похожую на воробья, но немного крупнее и с более длинным клювом. Она порхала вблизи Шали и то улетаала, то вновь приближалась, издавая слабое попискивание.

Он заметил, что она улетаала в одно и то же место, где рос небольшой кустик, и как будто звала к себе.

– Извините, Настя, я сейчас вернусь.

Он подошёл к этому кусту, и птица защебетала громче, кружась буквально рядом. Он почувствовал в её голосе какую-то тревогу и предостережение. Непроизвольно это сказалось на его настроении, и, подойдя к Насте, Шали сказал, что он уже всё посмотрел и можно возвращаться в Москву. Но если найдётся поблизости ресторан, то хорошо бы вместе пообедать.

Миновав пару придорожных кафе, они свернули в сторону Можайска и вскоре остановились у ресторана.

Шали попросил Настю и водителя заказывать всё, что им хочется, себе же заказал овощной салат, красную икру, стейк сёмги и двести граммов водки.

Он заставил себя говорить с Настей о Бородинском поле, о дорогах, о Москве, хотя с удовольствием бы помолчал и подумал о том, что же с ним произошло на месте сражения французов и русских, о чём тревожилась птица и почему на обелиске написано: «*Мёртвым великой армии*», а не *погибшим*?

Водка мало-помалу вернула утреннее настроение, особенно при мысли, что вечером он увидит Татьяну. По дороге в Москву Шали попросил остановиться у цветочного киоска и купил Насте большой букет роз. Хотел было купить и для Татьяны, но вовремя вспомнил мужскую заповедь: никогда не покупать подарки для одной женщины в присутствии другой.

– Это вам, Настя, от всего сердца. Спасибо вам за помощь, за терпеливое отношение к моим чудачествам. Спасибо!

У гостиницы они попрощались, и Шали сказал, что завтра он, видимо, уедет из Москвы, а мадам Марии позвонит или приедет попрощаться, если позволит время.

– Она так много сделала для меня!

Было уже полшестого, когда он вошёл в номер. Решил, что звонить Татьяне ещё рано, и прилёг на диван. Очнулся Шали от сна только в восемь вечера и сразу позвонил в 512-й номер. Татьяна не отвечала. Он позвонил через пятнадцать минут, потом снова, но телефон молчал. Постучали в дверь. Шали торопливо открыл её, но на пороге стоял посыльный. Он передал конверт, на котором по-французски было написано его имя.

3

Татьяна в тот день, когда Шали уехал на Бородинское поле, занялась оформлением документов на выделенную для Донецка машину реанимационной помощи. В ней крайне нуждались тяжелораненые ополченцы, дети и просто жители провозглашённых республик на Востоке Украины. По договорённости с Минздравом (спасибо Марии Викторовне) к машине была прикомандирована бригада опытных врачей. Реанимобиль был оснащён современным медицинским оборудованием и позволял производить в нём сложные операции, которые невозможно было сделать в условиях полуразрушенных больниц Донецка.

Сперва предполагалось, что два врача поедут на этой машине, но потом один из них отказался, присоединившись к двум другим, летевшим на самолёте.

Мария Викторовна предложила Татьяне ехать вместо него. Отъезд машины был намечен на четыре часа дня. Татьяна едва успела собраться и написать короткую записку Шали:

«Дорогой Шали! Я срочно выезжаю в Донецк на автомашине. Прости, но дожидаться тебя не смогу. Может быть, это к лучшему?»

Ты же веришь в судьбу. Оставь свои координаты Марии Викторовне. Я найду тебя. Татьяна».

Из Москвы выехали засветло, но за пределами Московской области машина окунулась в ночь, и Татьяна напряжённо вглядывалась в дорогу. Она не любила ночные поездки на автомашине, особенно дальние.

В памяти осталась трагедия семьи студента, с которым она дружила, когда их машина ночью столкнулась лоб в лоб с трайлером. Все они погибли, и Татьяна надолго замкнулась в себе, не принимая ухаживаний мужчин.

Всю дорогу до Ростова она не сомкнула глаз, поэтому в первой же гостинице сняла одноместный номер, приняла душ и легла спать. Через три часа послушный заданному режиму организм освободился от сна, а ещё через час Татьяна была уже в офисе Красного Креста, где её ждал реанимобиль.

В Донецк отправились под вечер, загрузив машину лекарствами и перевязочным материалом. Всё это делалось оперативно, без лишних формальностей, в ритме военного времени, к которому Татьяна успела привыкнуть за последние полгода.

Она ловила себя на мысли, что часто забывает, что она женщина, её не смущают мужская форменная одежда, грубый военный жаргон, случайные места ночёвок и даже попытки мужчин добиться близости.

Наследственные гены (отец был командиром эсминца, а мать – спортсменкой), занятия фехтованием (она стала мастером спорта), настойчивые попытки поступить в медицинский и вот уже полтора года работы в Красном Кресте после окончания Первого медицинского института закалили её характер и сформировали шкалу ценностей.

В институте Татьяна продолжила изучение французского языка, начатое в школе, в чём ей помогло общение с франкоговорящими студентами из стран Ближнего Востока. И потом, когда она пришла работать в Красный Крест, её просили быть переводчицей при встречах с представителями Франции. Командировки в Ливию, Сербию, Палестину, где она была в составе делегации Российского Красного Креста, обострили её болевое восприятие человеческих трагедий, горе и страдания людей заслонили личные интересы, и она полностью отдалась работе. Когда началась война в Донбассе, она не раздумывая решила поехать туда волонтером, помогать попавшим в беду.

Из-за всего этого она отложила до лучших времён поездку домой, к родителям, в Мурманск, и тем более традиционный отдых на море.

Встреча с Шали в кабинете Марии Викторовны пробудила в ней давно забытое чувство интереса к мужчине. Что-то было в нём необычное, незнакомое для её понимания чувственных отношений, отзывавшееся приятным беспокойством в её сердце. Может быть, его простодушная улыбка или вопросительный открытый взгляд заставили её по-особенному посмотреть на незнакомого француза. Дальнейшее общение с ним только усилило желание узнать его ближе и видеть, и чувствовать его внимание к ней как к женщине.

И всё же, когда Мария Викторовна предложила ехать в Донецк на реанимобиле, что исключало встречу с Шали, она почти без колебаний ответила согласием.

«Пусть будет как судьбе угодно», – подумала она, изменив собственному правилу полагаться только на себя. И лишь в записке Шали оставила чуть приоткрытой возможность дальнейших отношений.

...Донецк встретил разрушенными домами, почти безлюдными улицами и торопливо идущими редкими прохожими. Взгляды их были настороженными, если не сказать испуганными. Ближе к центру города, на Университетской улице, людей было больше, среди них выделялись ополченцы с автоматами и даже с охотничьими ружьями. Эти люди выглядели более спокойными и решительными.

Работали магазины, ходили трамваи, троллейбусы, но не было привычного шума и людской суеты, не было того хаотичного ритма, свойственного большим городам. Донецк дышал тревожным, прерывистым дыханием, как больной человек, ожидающий врачебной помощи.

Татьяна зашла в свой офис в административном здании, где работали ещё три человека – волонтеры, двое из России и один из Харькова. Они обступили её:

– Танечка, с возвращением! Какие новости привезла?

Она рассказала о реанимобиле, о лекарствах, о том, что скоро приедет колонна с гуманитарным грузом, о Москве и встрече с Марией Викторовной...

– Какие у вас планы на завтра?

– Какие тут планы! Работаю по звонкам, по вызовам, по взрывам, по пожарам... В Путиловском районе опять большие разрушения от обстрелов из аэропорта. Люди гибнут, горят в домах – смотреть страшно. Да ты всё сама знаешь. Ты скажи, русские придут защитить нас от этих фашистов?

Татьяна смотрела на двоих ребят, каждому из которых было не больше двадцати пяти лет, и девушку лет двадцати и думала: что их привело сюда, где они рискуют жизнью, не получая каких-то больших денег или выгод? У каждого из них есть видимые причины, как, например, у этого парня из Харькова, Стаса, у которого старший брат со своей семьёй – женой и двумя детьми – были убиты в собственном доме в Славянске. Но сколько таких трагедий сделало несчастных людей покорными и безвольными перед силой обстоятельств, не способными понять истинные причины зла и проклинающими порой своих защитников! Но основная часть населения двух республик делила с ополченцами и добровольными защитниками все тяготы борьбы за достойную жизнь на своей земле. Они переносили разрушения своих жилищ и гибель близких от непрерывных обстрелов войсками новой киевской власти.

Татьяна видела, как они ютились в подвалах многоэтажек в крайне стеснённых условиях, без бытовых удобств, помогая друг другу и подерживая в беде. Старики, женщины, дети находили силы и терпение переносить свалившиеся на них горе и потери почти всего, что нажили за долгие годы.

...Предложив разъехаться по домам и отдохнуть до утра, Татьяна отправилась в свою комнатку, которую она снимала у одинокой женщины, Нины Павловны, живущей почти в центре в семиэтажном

доме в трёхкомнатной квартире. Муж Нины Павловны, шахтёр, погиб в шахте в 2002 году, а дочь после замужества жила в Изюме, работала на опытно-механическом заводе. Но в девяностых завод прекратил существование, и дочь с мужем перебивались мелкой торговлей, воспитывая сына – внука Нины Павловны, которого она не видела уже года три.

Нине Павловне было далеко за шестьдесят. Она лет пять тому назад ушла с работы, жила на небольшую пенсию и деньги, которые получала от сдачи внаём комнаты.

– Ты, доню, – говорила она Татьяне, – будь осторожна в городе. Мой прежний постоялец попал под обстрел (щоб они сказылысь!) тай погиб. Царство ему небесное.

Нина Павловна говорила на смеси русского и украинского языков, что нередко встречается у живущих на Украине, на прежних русских землях, у тех, чьи русские родовые корни переплелись с украинскими, у тех, кто жил и работал долгое время в России или часто общался с русскими. Однако их речь была понятна как украинцам, так и русским.

Татьяне нравилась хозяйка своей опрятностью, кроткой добротой и заботливым отношением ко всему, с чем ей доводилось сталкиваться в своих всегдашних заботах. Сказывались её долгая работа няней в больнице и вечная потребность русской женщины заботиться о ком-нибудь, будь это свой, близкий человек или чужой.

– А я вам привезла подарок из Москвы.

И Татьяна подала Нине Павловне полиэтиленовый пакет с ручками.

– Ой, доню! Да хибя ж у тэбэ у Москви было мало забот, чтобы думать о бабке в Донецьке? – причитала она, выкладывая на стол колбасу, сыр, шпроты, ветчину, лекарства...

– Ой, спасибочки тоби, донечка, ой спасибочки! Сама-то, небось, и не вечерила ще? Сидай, у меня есть варёна картошка да огурчики, что с лета посолила.

Татьяна вдруг почувствовала, что она до потемнения в глазах голодна, и набросилась на картошку, чередуя её с хрусткими огурчиками из банки.

– Ну, а як же в Москви, чи думают за нас? Как нам жити? А то ж поубивают усих киевски зверюги.

– Не поубивают. Есть кому защитить Донбасс. Только бы народ поддержал, не отвернулся от своих защитников. Как вы думаете?

Такие беседы редко возникали у Татьяны с Ниной Павловной. Больше говорили о новостях, о родичах, о бытовых нуждах...

Татьяна и спросила-то больше от усталости, её уже клонило в сон. Организм, сбросив напряжение последних дней, требовал отдыха. И она, поблагодарив за ужин, ушла к себе в комнату, забралась в постель и мгновенно уснула.

Утро выдалось пасмурным, с неприятным, порывистым ветром. Он кружил опавшие листья, обрывки бумаг и разный мусор, сквозняками гулял меж домов и в проёмах разбитых дверей и окон. Дома потеряли разнообразие цветовой гаммы и выглядели серыми и безжизненными.

ми. Город оделся в защитную форму, как и его жители, чтобы раствориться в осенней распутице, не привлекая чужих взглядов.

Для Татьяны утро началось с посещения травматологического центра, к которому приписали реанимобиль. Она с удовлетворением узнала, что бригада врачей уже выехала на нём по вызову к тяжело-раненому.

Татьяна вернулась в офис. Стационарный телефон, так же как и мобильный, работал с перерывами, поэтому часто приходилось пользоваться машиной Стаса там, где можно было бы обойтись звонком.

И на этот раз телефоны бездействовали, поэтому пришлось просить Стаса поехать по делам в самые разные места.

Во время пауз Татьяна ловила себя на том, что думает о Шали. «Этого только не хватало – влюбиться во француза».

Она ещё не понимала глубины своих чувств, не понимала, что представляет собой настоящая любовь. Наверно, не то, что было у неё в школе, но и не то, что случилось сейчас в Москве. «А что»? – спрашивала она себя.

И Татьяна уходила в дела как в спасительную зону, куда мыслям о Шали вход был строго воспрещён.

Вечером в офисе они все четверо поужинали, купив кое-какую еду в магазине. И почти уже допивали чай, когда пришло сообщение, что на южной окраине Донецка разбит миной автобус с людьми.

Когда они подъехали, там уже была машина скорой помощи. Две женщины и мальчик лет восьми лежали на обочине, накрытые чёрной плёнкой.

Пожилая женщина в куртке с разорванным рукавом и испачканным сажей лицом говорила, срываясь иногда на плач:

– Прямо в автобус... Страшный взрыв – как полыхнёт, как полыхнёт! Мы побегли вперёд, к дверям... Уси падали, хорошо, шофёр помог, а то... Ой, лихо, лихо!

Татьяна со своими помощниками занялась ранеными, обрабатывая и перевязывая лёгкие осколочные раны и порезы. Тяжелораненых скорая помощь увозила в 3-ю городскую больницу и снова возвращалась. Кого-то из легко пострадавших Стас отвозил домой. Только трое под чёрной плёнкой остались на обочине. Нужно было найти и сообщить их родственникам о беде.

Татьяна смотрела на своих, особенно на молодую пару из Армавира, и удивлялась их деловитому спокойствию. «Когда же они успели привыкнуть к убитым и раненым, к крови и стонам?»

Вернувшись домой и наскоро хлебнув чая, она легла спать.

А рано утром пришёл ополченец и сказал, что её спрашивает какой-то француз на пограничном пункте.

В первый момент на Татьяну обрушился целый вихрь чувств – от страха и недоумения до приятного удивления и неосознанной радости. Но когда она вышла из дома, сердце уже освободилось от сиюминутного, и осталось только радостное ожидание встречи с Шали.

4

Он стоял перед шлагбаумом и всматривался в дорогу, идущую в Донецк. Холодный ветер только усиливал его озноб.

У него не было уверенности, что бородатый человек в военной форме правильно понял его английскую речь (хотя и кивал головой, и сказал в конце «о'кей!») и найдёт Татьяну.

Изредка к шлагбауму подъезжали машины, но ни в одной из них Татьяны не было. Его звали погреться пограничники, он улыбался и продолжал ходить по кругу. Прошло три часа тревожного ожидания. Шали стал по-настоящему замерзать.

Наконец он увидел, как из небольшой машины вышла она и торопливо пошла ему навстречу. Шали сорвался с места и побежал, потом обнял её, но она вырвалась, взяла его под руку и повела на погранпункт. Она долго говорила с офицером, потом взяла у Шали удостоверение сотрудника французского консульства и показала его. Офицер посмотрел и начал звонить, потом снова говорил с Татьяной и снова звонил. Наконец она, улыбаясь, подошла к Шали и сказала, что можно ехать в Донецк.

Шали смотрел на дорогу, разбитую осколками, в воронках от мин и снарядов, на разрушенные постройки и дома, упавшие опоры проводов и думал, что всё это похоже на то, что он видел в Сирии. Но прошлое уходило, растворялось вдали во влажной дымке, как эта раненая дорога, а новая реальность всходила приближающимся городом, и он держал руку Татьяны, боясь отпустить её даже на миг, чтобы не потерять связующую нить его судьбы с её судьбой. С этого момента его жизнь как бы распалась на эпизоды, связанные между собой присутствием любимой женщины, и пустоту, когда её не было рядом. Это было похоже на кадры кинохроники, которые препровождаются заставкой «no comment».

Они подъехали к гостинице «Киев», и Татьяна быстро всё уладила с размещением Шали. Администратор предупредила, что могут быть перебои с водой и электричеством, иногда пропадает связь и возможны обстрелы. Тогда нужно опускаться на нулевой этаж.

Шали пошутил:

– Меня защитит любовь.

Татьяна не стала переводить эти слова, но администратор, видимо, догадалась.

– А он у вас весёлый!

– Французы все весёлые, особенно при женщинах, – парировала Татьяна её намёк.

...Номер гостиницы. Широкая кровать, укрытая синим покрывалом. Стол у окна. Тумбочка у кровати. Журнальный столик, на котором справочники и телефонный аппарат, искусственные цветы в вазе. Два кресла.

Татьяна и Шали сели в них, придвинув почти вплотную.

– Как тебе удалось приехать сюда? Я просила не рисковать.

– Мне помогла мадам Мария. Я едва уговорил её помочь. Ты не хотела меня видеть?

– Шали, ты знаешь, что я не безразлична к тебе. Мне радостно видеть тебя, но здесь война. Настоящая война, и я не имею права подвергать твою жизнь риску.

– А ты сама, а твоя жизнь разве не подвергается опасности? Для меня лучше самому погибнуть, чем увидеть тебя даже раненой. – Шали встал, прошёлся немного по комнате и остановился возле Татьяны. – Ты тоже знаешь, что я люблю тебя. Люблю больше, чем жизнь. Это не красивые слова, а факт, это самый лучший подарок судьбы – встретиться с тобой.

Татьяна сидела склонив голову, потом подняла её и улыбнулась губами, глазами, маленькими ямочками на щеках, удлинёнными бровями, и Шали вспомнил строчки поэта:

*Когда она поднимет подбородок
И повернётся, чтобы улыбнуться, –
О, как это божественно!*

Потом они говорили о насущных проблемах: нужно купить местную sim-карту для мобильного, зарегистрироваться, приобрести зимнюю одежду – вот-вот похолодает, позвонить в Гере матери и успокоить её...

Провожая Татьяну, Шали обнял её и поцеловал в губы, и она почти не сопротивлялась.

– Можно, я буду называть тебя Тат, как никто другой не зовёт?

В офисе Татьяна представила Шали своей группе волонтеров.

– У нас пополнение – француз Шали из города Гере. Он приехал из Сирии, где работал волонтером два года. Был ранен. Я думаю, что его опыт поможет нам в работе.

Стали знакомиться:

– Вадим из Армавира.

– Оксана, тоже из Армавира.

– Мы уже знакомы. – Стас пожал руку Шали.

– А что такое Армавир? – спросил Шали Татьяну.

– Это город в России, наверно, такой же, как Гере.

...Они выехали в один из посёлков, недалеко от Донецка, где ночью был артиллерийский налёт и погибли целые семьи.

Там уже находились несколько ополченцев с миноискателем и служебной собакой.

Осматривали долго и тщательно вместе с оставшимися в живых жителями каждый разбитый дом, но под развалинами находили только мёртвых.

Иногда все замирали и слушали тишину. Шали увидел во дворе одного разрушенного дома небольшой холмик с чёрным проёмом сбоку и вспомнил, что крестьяне в Сирии иногда прятались в погре-

бах под грудой песка. Он подошёл к холмику и заглянул в проём. Послышался крик:

– Не убивайте нас, дяденька!

Шали полез внутрь холмика и вытащил яростно сопротивляющегося мальчика лет шести. Шали успокаивал его, но от этого мальчик кричал ещё громче, пока не подошла Татьяна. Её тихие, ласковые слова понемногу успокоили малыша, и он сказал, что в погребке осталась его сестрёнка Галя.

Шали достал девочку лет четырёх. Она вся дрожала и испуганно смотрела на них.

– Где ваша мама?

– В доме. Ее убило бомбой.

– А папка?

– Батьки немає.

Дети заплакали, причитая о маме.

– А вы где были, когда снаряд взорвался?

– В огороде. Морковку ели.

Дом был разрушен почти полностью. Часть крыши обрушилась. Из-под неё достали мёртвую женщину, но детей к ней не пустили.

Стас забрал их в машину, и они с Татьяной и Шали увезли сирот в Донецк, в детский приют.

Всю дорогу дети плакали, размазывая слёзы кулачками по своим бледным худеньким лицам, на которых поблёскивали по-взрослому всё понимающие глаза.

– Давай зайдём в церковь. – Татьяна взяла за руку Шали и повелительно повела к входу в храм.

– А мне можно, Тат? Я ведь католик.

– Всё равно ты христианин. Просто постоишь, посмотришь. Сейчас нет службы.

В храме никого не было, кроме свечницы в иконной лавке и одинокой маленькой старушки в чёрном платке.

Шали с удивлением рассматривал иконы на стенах, подсвечники, иконостас и алтарь. Всё было красиво и торжественно.

Ему не хотелось ни говорить, ни спрашивать, а просто стоять и смотреть на строгие лица святых на иконах, на взыскующие глаза Иисуса Христа, на милосердный взгляд Девы Марии.

Татьяна поставила свечки у Распятия, у Владимирской иконы Божией Матери и святого Георгия Победоносца и беззвучно помолилась.

Они выходили из храма вместе со старушкой. Уже на улице она сказала Татьяне:

– Вы ещё не венчаны, но ты, доченька, не переживай. Вас Господь обвенчает.

Эти слова запали Татьяне в душу, но только через долгое время она поняла, о чём сказала старушка.

...Осень уходила медленно, нехотя уступая зимнему ознобу леса, укутывая поля туманами и подмораживая ночами многочисленные лужи на дорогах.

Татьяна хотя и не имела врачебной практики, всё-таки не забывала то, чему учили в мединституте. И участвовала в операциях, ухаживала за ранеными, выезжала с бригадами скорой помощи.

Шали, оставаясь один, чувствовал себя неудобно, случайным, необязательным помощником Стаса в перевозке людей и грузов. «Хорошо бы, – думал он, – научиться русскому языку, хотя он и намного сложнее английского».

Рядом с Татьяной жизнь его обретала смысл и необходимость. Мало-помалу он разобрался в причинах войны Новороссии с киевским режимом, считал её справедливой и верил в окончательную победу народа Донбасса.

В тот день, в декабре 2014 года, он спросил Татьяну:

– Ты сможешь выполнить мою просьбу?

– Да, Шали. Если это в моих силах.

– Я тебя приглашаю в гостиницу отметить моё тридцатилетие.

– У тебя сегодня день рождения? Что же ты молчал?

И она обняла его, поцеловала в щёку.

– Поздравляю! А что тебе подарить?

– Главное, чтобы ты пришла. И если можешь, то англо-русский словарь. Ведь франко-русский здесь не найдёшь?

Когда Татьяна пришла в номер Шали вечером, у него уже был накрыт по-праздничному стол, а на журнальном столике вместо искусственных стояли живые цветы.

Шали был в клетчатой рубашке свободного покроя и джинсах. Он ухаживал за Татьяной с истинной французской галантностью и нескрываемой влюблённостью, предлагая то вино, то коньяк, то какую-нибудь закуску.

Татьяна принесла ему в подарок франко-русский словарь и тёплый свитер.

– А ещё сюрприз: я случайно встретила среди ополченцев двух французов-добровольцев. И завтра мы поедем с тобой к ним на блок-пост.

– Тат, ты просто волшебница! Ты – судьба моя! Я это понял ещё на Бородинском поле.

Коньяк, интимная обстановка и, главное, обоюдная влюблённость разрушили последние бастионы сдержанности, и пир застолья превратился в пир любви, безудержный, пылкий, нежный, сжигающий все преграды к обладанию друг другом. Время перестало существовать для них.

Потом они лежали, усталые и счастливые, не разнимая соединённых рук и не произнося ни слова. И только за полночь Шали проводил Татьяну домой.

– Тат, я люблю тебя, единственная моя!

– Я тоже люблю тебя, Шали! Будь осторожен, милый!

Когда он вернулся в гостиницу, дежурная укоризненно посмотрела на него:

– Не надо бродить ночами, мсье. Это опасно.

...Они приехали на блок-пост, и Татьяна, спросив о чём-то одного из ополченцев, повела Шали в укрытие, подобие блиндажа.

– Вот и твои земляки. Знакомьтесь.

Двое в армейском камуфляже быстро поднялись, подошли и после нескольких слов обнялись с Шали. Они говорили, перебивая друг друга, хлопая по плечам и улыбаясь, и Татьяна вышла, чтобы не мешать встрече соотечественников.

Возвращаясь в машину Стаса, Шали сказал Татьяне:

– Тат, не сердись на меня за то, что я скажу. Мне это необходимо сделать, иначе я перестану себя уважать. Мы всё равно будем рядом. Это ничего не меняет в моём отношении к тебе. Я люблю тебя с каждым днем всё сильнее. Но я должен был это сделать.

– Шали, ты меня пугаешь. Что случилось?

– Тат, я решил пойти в ополченцы. Мужчины должны быть воинами, когда нужно защитить справедливость. У нас есть поговорка: *a la quen comte a la queerre* – «воевать – так по-военному», можно и так сказать. И мне будет стыдно перед земляками, если я буду просто волонтером, не взявшим оружие в руки. Ты должна меня понять, ты же умница.

Татьяна была не в силах сказать ни «да», ни «нет». Непонятное, необъяснимое предчувствие беды мешало ей. Она понимала, что иначе поступить Шали не мог, он чуть ли не с первых дней после приезда в Донецк испытывал неловкость перед людьми с оружием в руках. Но почему так тревожно за него?

Расставаясь, она обняла его и долго не отпускала.

– Милый мой! Наверное, ты прав. Я не имею права переубеждать тебя. Но у меня почему-то болит сердце от мысли, что может случиться с тобой. Я не переживу этого.

– Тат, у нас всё будет хорошо, и мы с тобой поедem в Мурманск и Гере, чтобы нас благословили наши матери.

5

Приближался Новый год. Бои почти не стихали, принося всё новые жертвы.

Шали и Татьяна встречались то на передовой, когда она привозила продукты и перевязочный материал, то в гостинице, куда изредка приезжал Шали, то в городе. Оставаясь наедине, они давали волю чувствам, которые только усиливались в их коротких разлуках.

Уже невозможно было это скрывать от посторонних глаз, и Нина Павловна говорила Татьяне:

– Доню, не всяка любовь свитэ яко солнышко. Бывает, что тьмой ляже на душу. Храни тэбэ Боже от этого лиха.

«Тьма на душе, когда в ней нет любви», – думала Татьяна, вспоминая своё состояние до встречи с Шали. Но её беспокоило другое.

По делам устройства детей-сирот надо было ехать в Москву, но она всё откладывала поездку, будто ждала чего-то.

И это «что-то» случилось.

Ей позвонили с блок-поста, где воевал Шали, и попросили срочно приехать. Лучше бы на машине скорой помощи.

У неё непроизвольно защемило сердце и к глазам подступили слёзы. Она бросилась разыскивать реанимобиль и уже через четверть часа мчалась на нём к Шали. Она была уверена, что именно с ним что-то произошло. И молилась: только бы был живой, только бы живой!

Он лежал на носилках под байковым одеялом. Глаза были закрыты, на лице застыла болевая гримаса. Татьяна кинулась к нему, сдёрнула одеяло и увидела, что вся правая нога в крови, кровь была на шее и на плече. Шали отнесли в реанимобиль, он тихо стонал, и Татьяна зарыдала. Силы оставили её. Она упала на пол, потеряв сознание. Её перенесли на топчан, где обычно спал Шали, врач поднёс к носу ватку, смоченную нашатырём, и Татьяна очнулась.

– Нельзя же так, милая! Вы медик и не должны падать в обморок при виде крови, – сказал ей врач. – А я нужен там раненому.

Он ушёл, а Татьяна не находила сил, чтобы пойти к Шали. Она сидела и трогала свои ватные ноги, едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться. Наконец спросила:

– Как это случилось?

– На нашей mine подорвался киевский БТР, видимо, ходил в разведку. Мы заметили, что около него копошились двое, похоже, раненые. К ним пошла группа, в которой был и Шали. Когда подошли к БТРу, силовики начали садить по нему из миномёта. Они часто добивают своих раненых, чтобы те не попали в плен. Шали потащил одного, вроде как поляка, и в это время близко разорвалась мина. Наверно, Шали прикрывал его, потому что раны со стороны спины. А поляк ещё до обстрела был тяжёлым, когда подорвался БТР. Второй их легко раненный хотел сдаться, но попал под прямое попадание.

Когда мы тащили Шали, он спрашивал:

– Где Роберт?

Татьяна ничего не понимала. Только в Донецке, в травматологическом центре, куда положили Шали, она вспомнила, что он рассказывал про поляка, с которым лежал в больнице Дамаска.

Хирург из реанимобиля, уезжая, сказал Татьяне, что раны у Шали серьёзные и предсказать исход борьбы за его жизнь он бы не взялся.

– Осколки, что были в нём, мы вытащили. Трудно будет спасти ногу, сильно повреждена голень. Теперь многое зависит от его организма.

Шали лежал в палате, где было ещё пятеро раненых. Он то приходил в сознание ясное, не замутнённое болью, рассматривал палату, людей, пока взгляд не находил Татьяну, сидящую рядом на стуле, то снова проваливался в болевой морок. Потом вдруг боли отступали, и он мог произносить отдельные слова:

– Тат...

– Что, милый? Не говори ничего. Тебе нельзя. Я с тобой, всё будет хорошо.

– Тат... Прости... Мина... Роберт...

– Да, родной. Я всё понимаю. Поляк тоже здесь, на соседней кровати.

Боли усиливались, и Шали снова проваливался в забытие, и ему виделся вестибюль московской гостиницы, и из лифта выходит Татьяна в длинном платье с широкими рукавами...

Приходила сестра, делала укол, и Шали засыпал.

Татьяна уходила домой, покупала по дороге курицу и просила Нину Павловну сварить бульон. Потом снова шла в больницу и всю ночь сидела рядом с Шали, выносила «утку», меняла простыни, бинты, вытирала ему лицо влажной салфеткой...

Дня через три лицо Шали вдруг посветлело, глаза наполнились живым блеском, и он стал тихо говорить.

– Тат, я понял, о чём тревожилась птица на Бородинском поле. Она предупреждала меня, заклинала меня не ехать. Но мёртвые не всё знают о живых. Они забывают, что такое любовь.

– Шали, не надо о мёртвых. Жизнь принадлежит живым. И ты будешь жить.

– Не знаю, Тат. Под болью, глубже её, я чувствую холод, он постепенно охватывает моё тело. И я боюсь его больше, чем боюсь боли. А что с Робертом? Я бы хотел задать ему один вопрос.

– Ему плохо. Он держится на уколах и капельницах. Наши предлагали силовикам забрать его без обмена, но они отказались.

– Тат, не сообщай маме, если меня не станет. Пусть она думает, что я сражаюсь где-то за справедливость. Ты любишь меня?

– Да, Шали, я очень люблю тебя.

– Не оставляй меня, Тат.

– Я не оставляю тебя никогда.

...Прошёл ещё день. Люди готовились встречать Новый год. В палате повесили ёлочные игрушки. В шарах отражались капельницы, кровати и «утки» возле них.

Очнувшись от тяжёлого сна, Шали не увидел рядом Татьяны. Он повернулся в другую сторону. Лежащий на соседней кровати чуть приподнял забинтованную голову и тихо спросил:

– Это ты, Шали?

Между бинтами виднелись нос и глаза, но Шали узнал его.

– Роберт! Как ты оказался здесь? Ты же говорил, что больше никогда не будешь заниматься грязным делом.

– Деньги, Шали. Здесь хорошо платят наёмникам.

– А убитые дети, старики?

– Слюнтяйство всё это. Каждый делает деньги, как может. Но всё кончено. Если выживешь, сообщи родителям в Краков. Адрес под подушкой.

Пришла медсестра и что-то резкое сказала Роберту. Потом сделала ему укол. Подошла к Шали, осмотрела ногу и быстро ушла. Вскоре пришёл врач. Снял бинты с ноги и позвал медсестру.

После укола Шали стал проваливаться в радужное, светлое облако и не слышал, как пришла Татьяна, как ему сделали ещё укол и перевезли в операционную.

...Очнулся он через двое суток. Татьяна держала его за руку, сжимая запястье.

Он попытался улыбнуться, но вышла какая-то несуразная гримаса. Шали повернул голову к Роберту. Он лежал, укрытый с головой белой простынёй.

Шали машинально подумал:

«Вот так же лежал Соберг в Дамаске. Значит, Роберта больше нет, и его скоро унесут».

Эта мысль никак не затронула Шали, пришла, скользнула как тень в пустоту и забылась.

Татьяна что-то говорила, но он сосредоточился на ощущении, что боль в ноге поднялась выше, к самому колену и стала другой.

– Тат, что со мной? Я долго был без сознания?

– Лежи, милый. Теперь будет всё хорошо.

– Почему теперь?

Татьяна гладила его руку и молчала. Потом подошла медсестра, сделала укол и равнодушно сказала:

– Завтра будем встречать Новый год. Дай Бог, чтобы он был получше этого. Нет уже мочи всё это видеть.

– Хирург в больнице? – спросила Татьяна медсестру.

– Лёг отдохнуть. Ночью была операция. Он придёт к вам.

Чтобы успокоить Шали, Татьяна стала рассказывать, как они встречали однажды Новый год в институте.

– Мы большой компанией уехали в Подмосковье, в лес. Нашли хорошую поляну, развели костёр, на ближнюю ель навешали яблоки, мандарины, конфеты, а в снег попрятали подарки для каждого. Пели песни под гитару, зажаривали на костре сосиски, шашлык, картошку... Потом искали свои подарки в снегу.

Татьяна смеялась, но глаза у неё были грустными, мысли – о чём-то другом, и она то и дело поглядывала на дверь.

– Шали, я пойду к врачу, – сказала она, не в силах больше ждать, когда он придёт сам.

Хирург пил чай в ординаторской. Полноватый мужчина с толстыми пальцами не очень-то, по мнению Татьяны, походил на хирурга.

Но репутация у него была превосходная, пациенты ему доверяли, будучи уверены в благополучном исходе, если операцию проводил он.

– Олег Николаевич, ампутация голени у Шали была неизбежна?

– Да. Мы затянули с этим. Надо было бы раньше сделать. Кость была повреждена в нескольких местах. Но меня в настоящее время больше беспокоят его лёгкие. Осколок изъяли, но правое лёгкое в безнадежном состоянии.

– Хватит ли у Шали сил перенести две операции? Я боюсь за него.

– Если операцию не делать, сил потребуется ещё больше, чтобы жить на этом свете. Сейчас его нужно поддерживать. Вы, Танечка, успокойте его, подкормите. Не говорите о проблеме с лёгкими. Так будет лучше.

...Шали лежал с закрытыми глазами, по щекам ползли слёзы, и он не вытирал их, ощупывая руками правую ногу. Лицо было напряжённым и бледным. Он открыл глаза.

– У меня отняли ногу, у меня отняли ногу... – повторял он, словно хотел убедить себя в этом факте. – Тат, что теперь будет? Как я смогу жить?

Татьяна прильнула щекой к его лицу, чтобы он не видел её слёз.

– Шали, милый мой, не надо отчаиваться. Сейчас протезы делают так, что они лучше ног. Ведь колено осталось, а это главное. Прошу, не мучай себя.

Она снова повторила:

– Теперь будет всё хорошо.

Татьяна хотела покормить его, но он отказался. Снова закрыл глаза и молчал.

Только на следующий день, когда она принесла еловую пахучую веточку, письмо от земляков с блок-поста с пожеланиями счастливого Нового года и подарки, Шали успокоился, улыбнулся и попросил что-нибудь поест.

– Тат, я бы сейчас выпил виски или водки. Ты сможешь принести?

– Я уже принесла.

Она налила полстакана коньяка, на тарелку положила домашний пирожок, помидор, ломтики ветчины, сала, сыр и конфеты.

– А ты разве не выпьешь?

Татьяна покачала головой:

– Вечером.

К ночи пришли к больным и раненым родственники, друзья, палата наполнилась шумной суетой, запахами домашней еды и новогодних свечей, приглушённым смехом и тихим плачем.

– Тат, какое желание ты загадала на Новый год?

– Чтобы ты был живым и здоровым и чтобы пришёл мир на землю Донбасса.

– А что загадал ты, Шали?

– Чтобы ты была счастлива.

Долгая новогодняя ночь прошла в разговорах, полудремоте и отдалённых взрывах: война напоминала о себе.

Татьяна ушла утром в тягостном состоянии, оставив заснувшего Шали.

Потом она приходила к нему каждый день, принося какую-нибудь еду, но он почти ничего не ел, в забытьи стонал, а когда открывал глаза, молча смотрел в пространство за окном.

– Тат, – иногда тихо говорил он, – ты любишь меня? Не уходи, Тат...

В канун православного Рождества его не стало.

Похоронили Шали на братском кладбище, где хоронили погибших ополченцев.

А ещё через неделю Татьяна уже знала, что у неё будет ребёнок. Ребёнок от Шали. Она уехала в Москву и стала собираться во Францию, в Гере, к матери своего единственного возлюбленного, мужа и неодолимой печали несостоявшегося счастья.



**Анатолий
КРИЩЕНКО**

БЕЖИК

БЫЛЬ

*Пока бегут по свету бежики,
О, человек, не жди покоя.*

(Авторский посыл)

Мужчина лет двадцати семи привычно открыл калитку с примитивным дедовским секретом. Когда входил, голова закружилась так, что пришлось присесть на ступеньку родного крыльца. Доски приветливо, чуть слышно пропели что-то знакомое. Но он не услышал их приветствия. Зато без напряжения уловил громко-радостное повизгивание лохмача Века.

Пёс, по традиции сделав несколько кругов по дворику, покорно сел рядом, доверительно положив лапу на колено человека. Глаза собаки излучали особый свет неподкупной верности. Хозяин медленно гладил четвероногого друга. Боль в голове отступила.

Сверху послышалось пронзительно-значимое мяуканье. Одноглазый кот-боевик Васька, по-кошачьему солируя, гордо спускался по лестнице. Спускался из своего независимого чердачного благополучия для личного дипломатического приветствия.

Человек заулыбался, ему привычно и легко замечталось: «Нарисовать бы этюд вечности. Внизу подписать: «Друзья». Слово «друзья» вмиг ассоциативно сработало – увидел картинку пережитого, резко дотронулся до внутреннего кармана куртки: обгорелый альбомчик на месте. Вспом-

-
- Анатолий Яковлевич Крищенко родился в 1939 году в г. Прохладный Кабардино-Балкарской АССР. Работал плотником, матросом, журналистом, завлитом в театре, руководителем театральной студии и кружка юных журналистов. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Публиковался в журналах «Российская литература», «Подъём», «Волга–XXI век», «Лирика Кавказа», «Южная звезда» и др. Автор книг пьес и прозы. Лауреат российского литературного конкурса «Справедливый мир» (2005). Живёт в станице Мариинской Ставропольского края.

нилось: украинские зарисовки спас командир-шахтёр, выхватив альбомчик из костра.

«Зачем я швырнул тогда его в пламя? Зачем?» – пронеслось в голове художника.

Тогда шахтёр сурово выговорил ему:

– Не грехи, человеце. Не надо. Память грех сжигать. Она не сгораемая. Сгодится, опосля дюже сгодится!

...Видение исчезло, а жуткий вопрос – зачем? – остался. Прижился в мыслях. Не давал и не даёт покоя: почему там, среди убитых и раненых, он кинул свой альбомчик в костёр? Почему? Объяснить не мог ни тогда, ни сейчас. И вот живёт та быль в его контуженной башке.

Здесь, на порожках дома, снова рельефно увидел образ змеи-войны. Даже услышал, как тогда, её шипящий голос: «На войне не гибну только я – война». Бессмертная убийца и сейчас живёт в его альбомчике.

Может, поэтому он тогда хотел убить войну? Он бы её точно убил! Но помешал командир.

Странно как-то получается, что благодаря ополченцу-шахтёру война осталась жить на листах его альбомчика своей жизнью. Она обозначается болью обгорелых этюдов. Альбомчик-то жив! А того лукавого хохла командира уже нет. Но война-стерва живёт.

Некстати, а может, и кстати, здесь, на старых порожках, уже бывшему ополченцу припомнился последний едко-родной разговор с дедом по мобиле. Дед сердито кричал:

– Ты... того... возвращайся! Сюда, а не туда. А то я помру, хоронить кто будя? – Оправдывая свой «боевой» натиск, дед доверительно сообщил: – А я, внучок, впустил к себе беженцев. Они ж наши. Нашенские людины.

– Правильно сделал, деда, – откликнулся доброволец.

А старик продолжал:

– Моего батьку, а твоего прадеда в ту бойню, с Гитлером, от бандеровцев спасли украинцы. А счас я вроде долг отдаю... Так что счас проживают у меня малой с мамкой своей. Отца малого убили те нелюди. Такие вот дела, Витюха.

Витюха-внук тогда открыл для себя, что память духа тоже бессмертна. Он спросил:

– Скажи, деда, почему ты долго молчал? Я же звонил тебе.

– Да-к разбалансировалась твоя мобилова хрень. А ты, Витька, того... давай домой... А то кнутом отстегаю! Не твоя то война. Не родня она тебе. Не родня! Слышь?

– А разве война бывает родня? – насмешливо спросил он тогда деда.

Но мобильник старика молчал. Отключился. Видимо, опять «разбалансировался» или деньги все прозвонил старый.

Из глухих воспоминаний вернула узнаваемая «дверная» увертюра: привычно, насмешливо-скрипуче пропели давно не смазанные петли. Они радостно-узнаваемо приветствовали его возвращение. Человек их услышал. Собака тоже. Пёс резко поднял голову. А кот, неслышно,

но критично мяукнув, одним прыжком исчез с крыльца, успев сказать дверям на своём кошачьем языке: мышей надо ловить, а не скрипеть.

Заворожённый гипнозом взгляда, художник обернулся. На порожке в полураскрытом дверном проёме обозначился малыш. Он молча стоял, словно позируя не ему, а вечности. Художник, встретившись с робким взглядом-вопросом, отметил с удивлением, что лицо мальчика чем-то отдалённо напомнило ему собственное дошкольное фото. Его живой двойник по неписаным законам детских нравов воинственно показал своему «родственнику» язычок, то есть вызвал «родича» на дуэль. Художника окатило забытой волной детства. Он с ходу впал в счастливую пору ребячества: вызов принял. Взрослый «ребёнок» явил миру и малышу тоже свой недетский язык. Оба с высунутыми основными «предметами» рта застыли. Языковая дуэль затягивалась. Они прицельно молчали.

Первым не выдержал пёс. Ему не были знакомы такие причуды. В подобных дуэлях собак долго молчать нельзя. Надо рычать. Но здесь люди молчали. Пёс громко и почти сердито, с осуждением гавкнул, мол, рычать надо, а не молчать.

Малыш бесстрашно-быстро отреагировал звонким смехом. Хохот подхватил художник. Мир восстановился. Ликовали все. Век приветливо, не жалея хвоста, колотил им по ступеньке крыльца. Даже кот-боевик из чердачного замка тоже одобрительно мяукнул. Потому что мир нравится всем-всем, даже доскам и скрипучим дверным петлям. Но люди, не угомонившись, одновременно задали вековечный стратегический вопрос всех детей и даже взрослых:

– Ты – кто?

Слова бывших дуэлянтов прозвучали унисонно-слаженно и совсем не воинственно.

Ополченец-художник, соблюдая тактику, сообщил нейтрально первым:

– А я о тебе слышал, человек.

– И я о т-те-бе, – заикаясь, сообщил малыш и понуро добавил: – Я не ч-че-ло-в-век, я – б-беж-жик. Понял? Б-бежик.

– Нет, нет, ты – человек! На весь-весь век человек! Понял?

– Ага. Т-толь-к-ко я б-беж-жик. На в-весь век!

Услышав свою кличку, пёс наострил уши. Два раза тихо гавкнул. Художник, погладив собаку, сказал:

– Не то ты говоришь. Повторяю: ты – человек. Согласен, Век?

– Гав! – отреагировал пёс.

– А вообще, – продолжил художник, мучительно подыскивая слова, – я открою тебе одну тайну... – Перейдя на шёпот, продолжил: – Мы, все люди на земле, тоже бежики. Все-все.

– П-по-чему? – удивлённо спросил малыш.

– Потому что бегаем, играем в жизнь. Понял?

– Н-не-ет, – печально протянул малыш, – бе-беж-жики не играют. Они бе-г-гут.

В горле ополченца встал ежовый колючий ком.

Чтобы сменить тему, он спросил:

– А зовут-то как человека?

– В-вита.

– Ух, ты! И я Вита. Держи краба, тёзка.

Тёзка живо сбежал по крыльцу. Они пожали друг другу руки. Глянув на кусты малины, старший Виктор спросил:

– Ты, тёзка, малину деда пробовал? Малинка – лучшая конфетина в мире. Точно говорю.

– Я-я в-вче-р-ра во-от сто-оль-к-ко про-б-бо-в-вал. – Малец показал руками. – А-луч-шую к-кон-фе-т-тину – м-ма-л-линку.

– Так то было вчера. А сегодня хочешь?

– Аг-га. Х-хо-чу. А то её м-мед-д-ведь п-пок-ку-ушает. Да?

– Не покушает. Медведь боится Века.

– П-прав-д-да?

– Вот, зуб даю: правда!

– Х-хо-р-ро-шо. Но з-зуб н-не н-надо. Он т-те-бе п-при-г-годится.

– Согласен. Иди в малину. А я к деду. Поздороваться надо.

Малыш радостно побежал к кустам.

Художник успел подумать: «Кажись, пацан на меня смахивает. Бывают ведь в жизни такие портретные копии! Поразительно...»

Дверь резко, почти без скрипа распахнулась. На пороге стояла молодая женщина с усталым взглядом и тем иконописным лицом, что видел он в своём воображении. Видел до ополчения, когда загорелся написать портрет женщины-мадонны. И вот сейчас мелькнула зудящая мысль: «Когда натура находит тебя, а не ты её, то это точно подарок судьбы. Почти удача-везение!» Триптих не был закончен, потому что он не нашёл натуру. А сейчас вот она – живая явь воображения.

Удивлённым шёпотом женщина-мадонна произнесла:

– Это мой сынок говорил и смеялся? Он?

– Он! – бойко подтвердил художник.

Непогасшая красота молодости осветила печальное лицо.

– Значит, всё-таки заговорил сыночек! Он же почти немым был. Заговорил, слава Богу. Заговорил!

– Ещё как заговорил! Он – вот такой говорун! – Виктор показал большой палец.

– Ма-а-м! Я зд-десь! И-иди с-сюда!

Обрадованная мать со слезами счастья побежала к сыну.

Жизнь продолжалась в своём ритме и своём вечном повторе удивления. Напрасно утверждают реалисты-скептики, что чудес не бывает. Бывают! Воскресают в жизни не только библейские Лазари, но и бежики. Так будет всегда. И везде. Пока кружится земля на своей орбите. Пока в людях останется хоть один процент человечности.

Юркий проныра воробей, наблюдавший и, вероятно, чуть больше понимающий мир людей, чем сами люди, бесстрастно, но значимо пропел своё известное:

– Чик-чирик, чик-чирик. Заговорил, за-го-во-рил человек. Голосом воскрес.

Художник, живо вскинув голову на юркого, пожизненно «бесплатного адвоката», тихо произнёс:

– Ты прав, чирикалка. Пацан заговорил. Воскрес от немоты. Понял?

Воробей утвердительно ответил:

– Чик!

«Бесплатный адвокат», назначенный судьбой, быстро улетел, чтобы рассказать бывшим присяжным-чирикалкам и всему-всему свету о людской радости. Ведь радость закономерно материальна, как светлые мечты в коварно-сером мире людей.

Бывает, случается справедливость даже в суде! Браво случаю!

Художник, глядя в вечернее небо, печально подумал: «Почему нас, людей, часто понимают и деревья, и облака, и даже воробьи? А мы себя не всегда понимаем. Не всегда». Но радость в нашей жизни всё равно есть и будет: пацан-то заговорил!

Взволнованный этой своей мыслью, он спешно поднялся и не услышал «солирующую дверь». Опьянённый непривычной радостью, по-воробьиному пропел:

– Чик-чирик, чик-чирик.

Оглянулся на кашель.

На пороге стоял дед. Испуганно перекрестясь, спросил:

– Ты чего... того... чирикаешь, Витька? Ты того? – Дед покрутил пальцем у виска.

– Нет, деда, не «того», а «этого»: я вернулся живой. Живой! Видишь?

– Да, вижу. Хмельной, чай, от чувства жизни али воздуха нашенского?

Внук ответил:

– От воздуха.

Старик опять перекрестился, оторопело глядя на парня, произнёс:

– Никогда, никто не хмелел от воздуха. Это от контузии у тебя... али от водки?

Дед строго смотрел, не мигая, только седые брови чуть двигались, да на скулах резче обозначились желваки. Бывший ополченец засмеялся:

– Не-а, не угадал! Я хмельной, деда, – повторяю – от воздуха. Он наш, деревенский – самая хмельная брага на свете! Слышал?

– Нет. Мне это надо? Зачем мне такая брага? У меня своя была...

Они молча смотрели друг на друга, отыскивая изменения в каждом.

Дед кашлянул. Сурово изрёк:

– Давай, что ли, бражник, обнимемся?

– Давай, деда, давай!

Обнялись крепко, по-мужски, без слов. Помолчали. В таком молчании было больше тепла, чем в иных словах: пожалуй, оправдывала себя народная многовековая присказка: «молчание – золото». Такое веками не тускнеющее золото – молчание, возможно, было одной из скреп столетий всех поколений славян.

Всем было хорошо: и малышу с мамой (они стояли рядом), и бесстрашному Веку, и коту-боевику Ваське, и даже юрким «бесплатным адвокатам»-воробьям на суде нетленного безмолвия.

– Ладно, – произнёс грубовато дед, чуть оттолкнув внука, – пошагали, что ли, в хату? А то и я тоже малость охмелел от этой твоей брехни, бражник воздушный.

Все вошли в дом.

«Бражник», взглянув на старенький дедовский радиоприёмник, живо поинтересовался:

– Ещё работает твой советский приёмник, деда?

– Ну да. Старые вещи, как старые люди, не ломаются. Но... – старик вздохнул, – но мрут. Да-к ты как, бражник, умоешься аль под душ?

– Разберусь, деда, разберусь. Вначале послушаю твой громкоговоритель.

Виктор включил приёмник. Раздался волновой треск, затем голос:

– Внимание, внимание! Всем прибывшим с Украины просьба зайти в администрацию по вопросам трудоустройства и денежной компенсации. Ждём вас с восьми до восемнадцати часов. А сейчас, станичники, по вашим многочисленным заявкам прозвучит в исполнении местного казачьего хора старинная песня «Распрягайте, хлопцы, коней».

Лихо полилась знакомая мелодия.

Песню, не сговариваясь, подхватили все, даже человек-бежик. Он пытался подсвистывать. Свист у него плохо получался. Шипел.

Пение всегда сближает людей. Лица просветлели. Мальчик, доверчиво глядя на тёзку, спросил:

– А ты, д-дядь Вить, свистеть ум-меешь? К-как казаки в п-песне?

– Могу.

– Н-научишь? – глаза мальчонки засветились.

– Конечно.

Дед, махнув рукой, изрёк:

– Счас все свистят кругом. И даже не казаки.

– А я н-не м-могу, – обиделся мальчик.

– Так я ж научу! – заверил Виктор.

Дед пробурчал недовольно:

– Нашёл чему учить! Ты его не свистеть, а жить поучи.

– Попробую. Да он и сам...

– Угу, сам не сам, а соловья, как и воробья, разговорами не накормишь. Пора вечерять. Ты, мать, накрывай стол. А остальным – руки мыть! – скомандовал старик.

После ужина тёзки сидели на крыльце. Молчали. Рядом лежал воинственный Век. На коленях художника доверительно мурлыкал кот. Малыш, осторожно поглаживая одноглазого кота-боевика, спросил:

– Д-дядь В-вить, а п-поч-чему все к-коты му-ур-лык-кают? Они т-так п-поют? Д-да?

– Да, так поют. Пение роднит всех.

– А т-та п-песня п-про к-коней и х-хлопц-цев т-тоже р-род-нит всех? Пр-рав-д-да?

– Правда. Конечно, правда. Такие вот дела, Витюха...

Ему хотелось ещё чего-то добавить, рассказать малому о том, что там, в ополчении, после боёв и они иногда пели, лечили душу песней, как говорил командир-шахтёр... Осёкся, потушив мысль, как окуроч.

Уже в который раз пожалел, что бросил курить. В душе тлела мысль, душила дымком воспоминаний. Да так, что дыхание улавливало знакомо-обманный сигаретный привкус, даже кашлянул от удовольствия.

Развевял «дымок» голосок бежика:

– Смот-три, смот-три: зв-езда п-пад-дает...
 – Вижу, вижу, – отозвался бывший ополченец.
 – Всё. Уж-же н-нет зве-езды.
 – А ты, человек, успел загадать желание, когда звезда падала?
 – Н-нет. А з-зач-чем, че-ло-век? – спросил малыш.
 – Обычай такой есть. Если успеешь загадать своё желание, оно обязательно сбудется. Обязательно. Так успел?
 – Не-а н-не усп-пел. А чт-то т-ты заг-гадал, д-дядь В-вить?
 – Два слова. Казацкие, древние: «быть добру».
 – И он-но б-будет, добро?
 – Обязательно будет! – заверил художник.
 – Аг-га, б-будет. А п-папку уб-били... – горько выдохнул малыш. – Д-добра н-нету.

Виктор положил руку на вздрагивающие плечи мальчика и тихо заметил:

– Я понимаю, понимаю. Но ты держись, защищай маму. Держись! Мужчиной будь!

– Аг-га, б-буду.

Они молча вслушивались в таинственные звуки и шорохи сельского вечера.

– Д-дядь В-вить, в др-ругой раз, к-как звёзд-дочка стан-нет п-падать, заг-гадай, чт-тоб н-нас т-тут не б-бомбили. С-смож-жешь? – попросил малец.

Художника снова обожгло. В горле опять встал комок. Он колот, голову туманило, штормило, как после контузии. Тяжко думалось: на дедовской Украине расстреливали, словно мишени, дома и людей – спокойно, по-фашистски безжалостно. Тысячи бежиков бегут по земле. Вот и у Витюхи душа навывлет прострелена... Навсегда.

– Смо-о-жешь, – повторил вопрос малыш, – чтобы не б-бомбили?

Художник чётко, по-боевому ответил:

– Смогу, тёзка, обязательно смогу! И вы с мамой будете жить здесь, а не бежать по свету.

– А звёз-д-дочка б-бу-дет ещ-щё с-се-годня п-падать?

– Наверное, нет. Завтра, может, и упадёт, – тихо проговорил художник.

– Я з-завт-тра тож-же з-загад-даю.

– Быть добру? – спросил Виктор.

– Аг-га. И чт-тоб н-нас н-не б-бомбили.

...На этот раз проняло, как в последнем бою, когда его контузило, а командира-шахтёра разорвало взрывом.

В действительность вернул детский тихий голосок:

– Я, д-дядь В-вить, к-кажись, спать х-хочу. Но я и н-не х-хочу.

П-понар-рошки иг-граю.

Художник улыбнулся наивной детской хитрости.

Где-то сверху прокричала ночная птица. Она на секунду перекрыла слаженный хор маленьких, но вечных цикад и сверчков. Хор по звёздным нотам ещё продолжал свой концерт. Ночь впитывала мелодии.

Малыш, прижавшись к художнику, тихо проговорил:

– Ес-сли ч-че-естно, то с-спать мне п-почти н-не х-хочется. По-о-чти.

– Так нельзя! – строго заметил старший Виктор. – Спать надо всем.
– А св-верчки н-не сп-пят. П-поют х-хор-рошо.

Малыш зевнул. Над ним склонилась мама и полусонного унесла в дом.

А сверчки пели и пели, наполняя своим гимном тихую ночь. Звёзды подмигивали месяцу. А он, молодой и тоже чуть сонный, что-то важное открывал для себя, для неба, для земли. Месяц родился, чтобы жить, наблюдать, как с бесконечного неба иногда падают на грешную землю звёзды, чтобы светить, чтобы люди-человеки меньше взрывали и себя, и землю, и небо.

Так размышлял малыш месяц. Он ещё не знал, что звёзды тоже воюют и потому, может быть, падают с неба. А люди, глядя на падающие звезды, почему-то загадывают свои желания, и они почему-то иногда сбываются.

Ночью художнику снова снилась война. Не многоглавая змеюка, а кроваво-чёрная гидра в сполохах взрывов. В этом сне он опять увидел командира. Шахтёр наклонился к художнику и тихо, но строго, по-боевому приказал: «Ты, художник, мальчика обучи своему ремеслу. Научи его рисовать. Приказ понял?» – «Так точно! Научить мальчика рисовать!» – по-военному отчеканил Виктор. Командир-ополченец исчез.

Виктор проснулся и уже не смог уснуть до утра. Хор сверчков молчал. Издали донеслось одиночное петушиное «кукареку». Художник заглянул в ночь через окно.

Вверху из-под тучи шаловливо светился рожок месяца. Он с чисто детским удивлением, словно бежик, разглядывал землю, наслаждаясь жизнью и тишиной.

А человек-бежик спал. Но его мама не спала. Она неслышно плакала от полынно-горькой неизвестности. Вопросы волнами бились о разум. А он, жестоко-лукавый, столько раз выручавший её, упорно молчал. Вырвалось: «Люди, люди, почему вы столетиями убиваете и убиваете самих себя? Вы, современные инквизиторы, изощрённо уничтожаете всех, даже детей не щадите».

Она стала неистово молиться. От той с детства святой молитвы «Отче наш» чуть полегчало. Солёные слёзы тонкими ручейками стекали на шею. И почему-то дышалось легко.



**Алексей
БОРЫЧЕВ**

ПОЛДНЕВНЫЙ РОМАНС

ДЕКАБРЬСКАЯ СМОЛА

В ручьях мороза тихо слышно
Журчание декабрьских смол,
Когда в пространстве неподвижно
Цветок отчаянья расцвёл.

По высохшей реке удачи,
По позабытым голосам
Они текут, смеясь и плача,
Искрятся полднем по лесам.

Их капли – солнечные блики.
Их запах – стылый цвет небес.
Январь, суровый, многоликий,
Под их журчание воскрес...

Смывая тяжкие глаголы
Со строк рассеянной судьбы,
Текут декабрьские смолы
Туда, где дали голубы.

Где сосны вышили крестами
Снегов сухое полотно,
Где в синем севера кристалле
Цветенье зим отражено,

Где времена, глухи, жестоки,
Пронзают тишиною лес,
И зорь кровавые потоки
Стекают с лезвия небес.

Но даже здесь я различаю
Журчание декабрьских смол...
А в небе долгими ночами
Играет звёздами Эол.

-
- Алексей Леонтьевич Борычев родился в 1973 году в Москве. Автор восьми поэтических книг. Публиковался в журналах «Наш современник», «Юность», «Кольцо А», «Нева», «Нива», «Аврора», «Сура», «Южная звезда», «Аргмак» и многих других; в газетах «Российский писатель», «День литературы», в «Литературной газете». Живёт в Москве.

Я ОГЛЯНУЛСЯ...

Я оглянулся – пропасть за спиной.
Гудят, дымят бывшие времена,
И звёзды, нарисованные тьмой,
Иные называют имена.
И нет ни блеска, Боже, ни огня
В туманной черни прошлого, и даже
Никто не видит в тягостном пейзаже
Забывтого, счастливого меня.

Я оглянулся – пропасть за спиной.
Над нею слабый свет и облака...
И мир иной, знакомый, но иной,
Вонзает шпиль бессмертия в века.
К чему смотреть в грядущее, к чему?
Когда оно само в глаза заглянет,
Придя ко мне в оранжевом тумане.
Прокисших вёсен дар его приму!

Я оглянулся – пропасть за спиной.
А впереди – высокая стена.
Идут снега. Шершавой тишиной
Прошита их тугая пелена.
О, так всегда грядущее идёт –
Снегами, сокращая расстоянье
До той стены, где блеском расставаний
Сверкает лёд, прощаний скорбный лёд!

ОПЯТА

Приснились опята в лиственной глуши,
И дождь морозящий, и сонные блики –
То место грибное, куда я спешил
За тихим покоем – лесным, невеликим.

И бабочка сонная в каплях дождя –
На пне отсыревшем дрожащее тельце...
Я липовый листик сорвал, проходя,
И крылья прикрыл со сноровкой умельца.

И влажные звуки на землю лились,
И пар восходил к небесам, а сквозь тучи,
Пронзая лилово-белёсую высь,
Бежал по кустам лихорадочный лучик.

И стало светло, будто не было туч,
И душный озноб, заполнявший пространство
Клубами тумана, тягуч и липуч,
Алмазами лёг на лесное убранство.

И липы дышали сырою землёй,
И тихо смеялись берёзы, осины,
И птичьего гама цветное стекло
Покой осветило – еловый, лосиный.

И я оглянулся: на каждом стволе,
На каждой коряге, сырой и замшелой,
И даже местами на мокрой земле
Опята глядели нахально и смело.

Лесной одноногий забавный народ
Меня окружил, и до позднего часа
Сражался я с ним..
Ах, какой же был год?..
Теперь и не вспомнить мне с первого раза!

В ГЛАЗА УСТАВШЕЙ ОСЕНИ СМОТРЮ...

В глаза уставшей осени смотрю,
В тревожные, дымящие сосуды,
В которых смерть вскипает на ветру
И плавают последние минуты
Отчаянного смеха летних дней,
Где мир казался легче и добрей.

Окно. Звезда. И больше ничего!
Лишь пятна – пятаки воспоминаний
На полотне пространства моего
Краснеют, обращаясь именами
Всех тех, кого я помнить не хочу.
И я тушу забытую свечу.

Из памяти в меня глядят леса,
Смеются птичьим смехом и свободой,
Искрятся изумрудные глаза
Лучами золотого небосвода.
Но памяти бледнеет полотно,
И снова осень смотрит мне в окно.

Терзая беспокойством сердце мне,
Крылатая и чёрная, как ворон,
Ворует блеск бывшего в тишине,
В предсердие проникнув наглым воров
Сквозь стылый звон холодного окна,
Где даже ночь – и та едва видна...

В глаза уставшей осени смотрю,
В тревожные, дымящие сосуды,
В которых смерть вскипает на ветру
И плавают последние минуты
Отчаянного смеха летних дней,
Где мир всегда – и легче, и добрей.

ПОЛДНЕВНЫЙ РОМАНС

Хрупкая девочка Оля. Ромашковый лес.
Слитки июльского полдня сверкают над нами.
Синие птицы слетают с белёсых небес.
Мир наполняется снами, прекрасными снами...

Белые, жёлтые в небе плывут облака.
Красные, синие бабочки. Пчёлы. Стрекозы.
Озеро. Солнце. Кристальный ручей как река.
Чётко полуденный час, нескончаемо розов.

Оля, ты слышишь, как сладко поёт глухоманы!
Оля, ты видишь, как волны, зелёные волны
Нас увлекают в ленивый, дремотный туман,
Счастьем, покоем, свободой заманчиво полный.

С дальних полян прилетает сюда ветерок.
Может быть, это рыдание чьё-нибудь, Оля,
Слёзы того, кто почувствовать счастье не смог
И догорел в беспорядочном пламени боли.

Вот по травинке ползёт непонятный жучок.
Вот где-то там, далеко, тихо стонет кукушка.
Как на душе от всего горячо-горячо!..
Жаль, это время с тобою – для сердца ловушка!

ЖИВУТ НЕСКРОМНЫЕ УЛЫБКИ...

Живут нескромные улыбки
В домишке старенькой души.
У дома речка. В ней – две рыбки –
Событий прежних миражи.

И звёзды ярко-золотые
На крышу падают с небес...
Года былые, молодые!
Сгорел за речкою ваш лес.

Но кто-то тихо улыбнётся –
И в тёмном зеркале воды,
Как будто в темени колодца,
Качнутся лес и две звезды.

И побежит по росам мальчик,
У времени мой мир украв.
И солнечный ворвётся зайчик
Во мрак чернеющих дубрав.



**Виталий
ЛОЗОВИЧ**

УБОЙНЫЙ СНЕГ

Повесть

*Убой – наст, плотный снег,
твёрдая дорога на снегу.
Убойный снег – плотный, крепкий.
(Север, Сибирь, Дальний Восток)*

Э. М. Мурзаев

«Словарь народных географических терминов»

Когда Сашке в конце девяностых исполнилось тридцать пять лет, его выгнали с работы. Выгнали, в сущности, ни за что – за трёхдневное отсутствие. Открыли трудовое законодательство, нашли «статью» и выгнали. Причина отсутствия была крайне заурядная: затяжной день рождения. Имеющиеся в наличии когда-то заработанные отгулы не помогли – отговорка постфактум.

Пятнадцать лет Сашка отдал местному телевидению. Пятнадцать лет морозился на Крайнем Севере с кино- и телекамерами в любую погоду, в любых условиях, начиная с кабинетов начальства и заканчивая Арктическим побережьем, островами в Ледовитом океане, с промысловиками, рыбаками, пограничниками или стойбищами оленеводов.

Теперь второй месяц сидел Сашка на овсяной каше и сухих лепёшках, которые пёк без масла на муке. Его кот Моська и среднеазиатский волкодав Хан жили много лучше: им Сашкина тётка пару раз в неделю приносила остатки обедов из заводской столовой. Заканчивалось двадцатое столетие – время в России для честных людей не очень денежное.

-
- Виталий Васильевич Лозович родился и жил в Воркуте. Более тридцати лет проработал кино- и телеоператором. Публиковался в журналах «Север», «Автограф», «Дальний Восток», «Союз писателей», «Аврора». Автор прозаических книг «Тёща для всех», «Опрокинутый мир», «Убойный снег». Лауреат журнала «Дальний Восток». Член Российского межрегионального союза писателей. Член Союза журналистов России. Живёт в Салехарде.

Иногда Сашка ходил на овощную базу разгружать вагоны с продуктами. За это давали сетку картошки или капусты да немного денег, которые уходили на оплату квартиры и прочих жилищных услуг. Как-то он пробовал звонить на работу – покаяться, но директор остался непреклонен:

– А зачем мне четвёртый оператор? Мне хватает трёх. Работы у нас не так и много.

Однажды, когда на овощной базе не было работы почти целую неделю, Сашка достал охотничье ружьё, взял лыжи и ушёл в тундру. Через двенадцать часов он вернулся домой с увесистым зайцем.

Время от времени звонили знакомые дамы. Узнав, что Сашка без работы, а в холодильнике у него лишь мороз трескучий, говорили одни и те же слова:

– Никуда не уходи!

Потом на столе у Сашки появлялись колбаса, хлеб, огурцы, яблоки, конфеты, пельмени в пакетах, водка в бутылках, а на подушке – очаровательное женское личико. Утром личико исчезало, а еда оставалась.

Когда он принёс из тундры зайца, разделал его и поставил варить, зазвонил телефон. Сашка поначалу даже и трубку поднимать не хотел: надоели ему сочувственные слова очаровательных созданий. Время шло, и надо было уже не соболезнования принимать да «гуманитарную помощь», а действенные меры, вплоть до смены профессии. В этом Сашка больше всего надеялся на своего бывшего шефа по телестудии, кинооператора с тридцатилетним стажем. Тот давно уже работал преподавателем «кино-фото-видео» в местном Дворце пионеров и обещал Сашке подыскать хотя бы что-нибудь связанное с «объективом». Специальность может быть другая, но всё же родственная.

Телефон звонил долго и настойчиво. Сашка не сдержался, снял трубку и голосом очень занятого человека немного нервно произнёс:

– Алло.

И в трубке нежно прозвучало:

– Здравствуй, Саша.

Сашка едва не упал. А когда не упал, услышал вновь:

– Саша, это я. Ты где?

У него моментально заболело горло, а язык сковал паралич.

– Алло?

– Да, да, – сказал он, – я слышу.

Это была Ксюша. В это было трудно поверить, но это была Ксюша. Сашка познакомился с ней около года назад, подружил пару месяцев без особых претензий, да так и не сдружился по-серьёзному. Ксюша была моложе его на пятнадцать лет. Тогда ей было девятнадцать. Её увлечение своей персоной Сашка принял как должное. Но потом она вдруг пропала, на звонки не отвечала, дома застать стало невозможным. Сашка занервничал... Но вокруг было столько прекрасных утешительниц, что исчезновение Ксюши сгладилось и позабылось уже через сутки. А через месяц она позвонила ему и сообщила, что выходит замуж за парня, с которым ходила ещё в детский сад. Там всё

серьёзно, там уже чуть ли не готовая семья. Детей только не хватает. Сашка хотел было удариться от злости в запой, но не смог: шёл июль, месяц отпусков, и он остался один на студии в операторском цехе. Надо было работать.

Сейчас Сашка, растеряв все слова и мысли, лихорадочно соображал, что бы спросить: «Как семейная жизнь? Ожидаем приплода?.. Тьфу! Нет, этого, потомства?.. Или нет...»

– Саша, это я, – сказала Ксюша.

– Что-нибудь случилось? – вылетело у него машинально.

– Случилось, – тихо подтвердила она. – Мы разошлись.

У Сашки едва не вырвалось по привычке: ну, ничего страшного, разошлись – не убились, в конце концов.

– Я могу чем-то помочь? – спросил он.

– Конечно, можешь. Поговори со мной.

Они проговорили полтора часа. Сашка рассказал всю свою историю и даже пригласил на зайчатину, но Ксюша вежливо отказалась под предлогом плохого самочувствия. Сама она ничего особенного не рассказывала – так, разошлись, и всё, больше слушала Сашку о его горестном положении да пробовала дать хоть какой-нибудь совет. Когда разговор закончился, Сашка посмотрел в окно: укрытый снегом зимний город уже спал. На улице было тихо и хорошо. Желтоватые фонари и освещённые окна домов рисовали какую-то тёплую, уютную картину. Никто не стрелял, не звал на помощь, не горланил пьяные песни, не включал на пустынных улицах милицейскую сирену...

Через день Ксюша позвонила опять, и после этого милого, в сущности, бессодержательного разговора Сашке вдруг стало невыразимо стыдно. Сначала он даже не мог понять, а за что ему так необъяснимо стыдно? Он перебрал в уме все возможные варианты, связанные с Ксюшей и со всеми остальными дамами, но не нашёл ничего особенного, ничего отвратительного в своём поведении. Но, странное дело, как только закончилась зайчатина, а последние хрящи и кости слопали Хан и Моська, Сашка вмиг объяснил себе своё беспокойство. Он был сейчас просто жалок. Он вызывал сострадание у того человека, перед которым хотел выглядеть надёжным, обеспеченным и, более всего, – материально независимым. Хотя бы как тогда, когда имел работу. Он так привык, что она есть, эта работа, и думал, она будет всегда. Жизнь распорядилась иначе. Хорошо, хоть Моська и Хан особенно от этого не страдали.

Нет, нет, надо срочно искать работу, хоть кем, хоть где, только иметь постоянный заработок... постоянный! Хватит перебиваться с картошки на капусту. Хватит жаловаться своим дамам на холодильник, в котором, кроме «зимы», ничего нет.

Он встал, открыл ящичек письменного стола, достал записную книжку и в который раз стал перебирать фамилии знакомых и полужнакомых людей, которые могли хоть как-то поспособствовать его устройству. Ждать больше нечего. Все сроки вышли, и на своей бывшей работе он теперь не нужен. Надейся не надейся, никто не вспомнит, никто не позовёт. Пролистав несколько страниц, он наткнулся на фамилию одного давнего товарища, бывшего одноклассника, имев-

шего нынче три продовольственных магазина. Кем он к нему?.. Хоть кем. Это если ещё возьмёт. Сашка подошёл к телефону, вспомнил все нужные слова в такой ситуации, создал лёгкость, непринуждённость настроения... И тут телефон зазвонил сам. Сашка вздрогнул, поднял трубку и нетерпеливо, чтоб не сбить настрой, сказал:

– Слушаю.

Сейчас ни с кем особенно говорить не хотелось. Хотелось быстрее получить хоть какой-нибудь результат, какую-нибудь информацию.

– Ну, здравствуй, дорогой! – проговорили в трубке.

Сашка присел на кровать – это был бывший шеф и учитель, кинооператор, обещавший устроить его хоть на какую работу, похожую на основную.

– У меня такое впечатление, Саша, что тебе немного повезло, – загадочно произнёс он после взаимных приветствий, – если твоё положение всё такое же, то сразу главный вопрос: как дела с кино?

– Кто сейчас помнит это слово? – вяло ответил Сашка.

– Тогда слушай внимательно. В город прилетели американцы. Они снимают малочисленные коренные народы Севера. Снимают они кино, никакого видео. У них оператор свалился с аппендицитом, его спасли, но он в больнице. Ждать его выздоровления группа не может. Время – деньги. Бросились искать здесь, а у нас каждый хоть и «мэтр», но с кино дела не имел. Обратились через городское начальство ко мне, а мне лень... Я им рекомендовал тебя. Вопрос? –

– На сколько дней?

– Дня три, может, четыре, может, и в два уложите. Они платят в долларах и прилично. Два дня полёта – и пятьсот баксов у тебя в кармане, представляешь?.. По сегодняшнему курсу. А если в рубли?.. Ты у себя на работе сколько в долларах получал? Ну-ка, вспомни?..

– Баксов сто... или сто пятьдесят.

– Видишь? Почти за пять месяцев платят.

– Когда ехать?

– Вылет завтра.

– Как мне с ними встретиться?

– Сейчас садись, едешь в гостиницу «Центральная», я от них звоню. Всё. Встретимся в холле.

Сашка положил трубку и тупо уставился на телефон. Записная книжка захлопнулась сама. Кино! Мечта жизни! В последние годы он забросил это дело. Кино превратилось в экзотику. Видео – более оперативно, более дешёво. Оно и вытеснило кино. И вот надо же такому случиться!

Знакомство прошло в считанные минуты. Группа состояла из трёх человек. Руководителем была Элизабет, женщина лет двадцати пяти, автор и журналист. Русским языком она владела в совершенстве, но говорила с лёгким акцентом, иногда смягчая согласные звуки. Двое других – звукооператор Фрэнк и Макс, режиссёр, – ничего особенного из себя не представляли, говорили плохо, но понимали русский язык хорошо. Они были какие-то одинаковые: коренастые, немногословные, даже замкнутые. Одеты были хорошо, ярко, дорого, в пуховики, меховые ботинки-берцы, вязаные шапочки с вышитыми призна-

ниями в любви к Нью-Йорку. Всё больше молчали и сосредоточенно разглядывали Сашку. Впрочем, его это волновало меньше всего. Он внимательно оглядел Элизабет и вспомнил Ксюшу... Американка всё же была ничего... Показали кинокамеру – одну из последних моделей французской марки «Эклер».

– Что это американцы начали европейской техникой снимать? – тихо спросил Сашка.

– Я так понял, оператор у них канадец французского происхождения, из Квебека, – ответил столь же тихо шеф, – но патриот своей исторической родины.

– И они канадцы?

– Нет, – шеф поморщился от его несообразительности, – это же Америка, откуда захотели, оттуда и взяли. И вообще, они мне не нравятся. Девчонка заносчивая какая-то...

– Девчонка ничего, – протянул плотоядно Сашка.

– А, – иронично посмотрел на него шеф, – тебе всё одно.

Когда он познакомился с камерой и выяснил все детали, Элизабет оглядела Сашку едва ли не с ног до головы, нисколько не смущаясь, словно товар, потом спросила:

– Как мне можно вас называть? Александр? Или просто Алекс?

– Да нет, – ответил ей таким же пристальным взглядом Сашка, – называйте меня просто – Саша.

– Сашья?

Он ухмыльнулся.

– Пусть будет Сашья.

– Мы вылетаем завтра, Сашья, утром, в десять. У нас зафрахтован самолёт. За полчаса мы ждём вас здесь. Характер съёмки я объясню вам в дороге. Главное – Север должен быть красивым, а не брошенным. Понимаете? Мне не нужен пьяный российский Север. У нас другая задача.

Элизабет произносила слова практически так же, как они пишутся, переводя буквы в звуки. Получалось неплохо и очень даже мило. Даже... беззащитно.

– А как мне вас называть? – спросил Сашка.

– Можете Лиз, – она обернулась на своих спутников, – а их – Фрэнк и Макс. Годится?

Сашка не ответил, и Элизабет немного дольше задержала на нём взгляд. Потом они распрощались, и Сашка вышел из номера с задумчивым видом. На крыльце гостиницы, пожимая руку шефу, он мотнул головой, как бы возвращаясь в реальность, и сразу спросил:

– У вас пары сотен не будет? Гонорар получу – отдам.

Шеф достал двести рублей и спросил:

– Почём нынче доллар?

– Дорого, – ответил Сашка, потом поправился: – Или просто рубль слишком дешёв.

– Огромные деньги получишь.

На двести рублей в ночном магазине Сашка купил свой постоянный личный НЗ: бутылку спирта, галеты, кубики бульонные и сухой

корм Хану с Моськой. Дома он погладил одновременно две подставленные морды – Моськи и Хана, и только тут вспомнил:

– Интересно, а вас куда?

Вообще-то на самый крайний случай оставалась тётка, но уж очень не хотелось её беспокоить. И так ей «по горло» обязан кругом. Сашка опять достал записную книжку. Сняв телефонную трубку, он посмотрел на часы – двадцать два ноль-ноль. Не так уж и поздно.

Где-то далеко, в городской ночи, за одним из освещённых окон раздался звонок, и спустя долгие, томительные мгновения Сашка услышал мягкий, до боли знакомый женский голос:

– Алло.

На секунду он испытал сомнение.

– Привет, Ксюша, – как-то виновато промямлил он.

– А-а, – обрадовалась она, – привет! Мне почему-то сегодня весь день казалось, что ты позвонишь.

Сашка покусал губы. Ксюша не выдержала и двух секунд.

– Что у тебя случилось?

– У меня работа случилась, – оправдался Сашка и всё так же нерешительно и смущённо выложил ей весь свой «американский» контракт.

– Ой, Саша, – очаровательно сказала Ксюша, – так ведь это же здорово!

– Здорово, здорово, – пробурчал Сашка, – а «собак» своих я куда дену?

– Так давай я за ними присмотрю, – предложила она, – буду заходить до работы и после, хватит?

– Ты что, собак моих не помнишь? Хан в первый вечер все ножки у мебели перегрызёт...

– ...а Моська раздерёт ковёр, – дополнила она. – Я помню.

Они помолчали. После Ксюша осторожно спросила:

– Ты хочешь, чтоб я на время твоего отсутствия пожила в твоей квартире?

– Меня же не будет...

Ксюша помедлила. Тишина в трубке давила на уши.

– Ой, да что я думаю, конечно, смогу! – решительно сказала она.

– А родители твои?

– Да что родители? У тебя, может, такой шанс один будет? Собирайся! Когда мне приходиться?

– Завтра в девять я должен выйти.

– Спи спокойно. Завтра к девяти я буду.

На следующий день к девяти утра сомнения Сашки не улеглись, а даже где-то обострились. Ксюшу он встретил с бегающими глазами и некоторой суетой в поведении. За прошедший год она явно повзрослела. Сашка старался не смотреть на неё и сразу повёл по квартире показывать, где у него кто ест, где ошейники да поводки, где у Моськи туалет...

– Саша, – осторожно остановила она его, – я всё помню. Я ведь не первый раз у тебя.

– Тут тётка может прийти вечером...

– Я её помню.
– Да, конечно, – потерялся вконец тот.
– Так здорово, – оглянулась она вокруг, – ничего не изменилось.
– Родители что сказали?
– Кажется, они не поверили.
– Скандал был?
– Да нет, – она пожала плечами, – так... Поезжай, всё будет в порядке.

Самолёт, ожидавший съёмочную группу в аэропорту, оказался обычным «кукурузником». Вместо колёс к шасси были прикреплены огромные лыжи. Самолёт стоял отдельно от всех своих собратьев да и взлетать, судя по всему, тоже должен был отдельно. Основная полоса была вычищена до бетона. Пилот был весьма крупным дядей с добрым лицом полярника, дожившего наконец до пенсионного возраста, и имел самый настоящий арктический вид: лётная куртка, брезентовые утеплённые штаны, заправленные в унты с ружим мехом, и такая же рыжая пушистая шапка. Он пожал Сашке руку и сказал:

– Меня звать дядя Миша, сынок. Тебе как – «дядя Миша»? Ты наш?

– Я наш, – признался Сашка.

– Это хорошо, – потеплел дядя Миша, – а вот дамочка, – он кивнул на стоящую в стороне Элизабет, – знаешь, как меня называет? «Дядья Мишья»!

– А меня – «Сашья», – поделился тот.

– Ах, вот оно что! – брови дяди Миши приподнялись вместе с шапкой. – Нам надо держаться вместе. Ты что у них делаешь?

– Кино снимаю.

– Ясно. Тогда, Сашья, забирайся в моего динозавра, скоро летим.

– А вы будете один пилот?..

Брови дяди Миши опять ушли вверх.

– Ты никак сомневаешься?

– Я так, из любопытства.

– Можешь помочь, – брови его остались сверху, уголки рта опустились вниз, – сядешь рядом.

Когда Сашка устроился на месте со своей поклажей, состоявшей из его личного мятого рюкзака, кофра с кинокамерой и двух сумок с принадлежностями к ней, в кабину заглянул дядя Миша, обернулся в салон к иностранцам и негромко, голосом бывалого заговорщика спросил:

– Ты вообще как, мужик бывалый? В Арктике топтался?

– Приходилось.

– Хочешь тайну? – он загадочно улыбнулся. – А то меня всего распирает, рассказать хочется, а этим... чужакам заморским – не могу, не имею права. Но ты-то наш!

– Давайте, – беззаботно позволил Сашка.

– Это у «кукурузника» последний рейс. – Он таинственно подмигнул и состроил гримасу, что, мол, теперь поделаешь. – Понял?..

– Понял. А что тут таинственного? По одному его виду понятно.

– Понятно, да? – дядя Миша едва не обиделся. – А знаешь, что бывает... – он воздел глаза к небу, – что бывает в последнем рейсе?..

И ушёл.

Сашка задумчиво посмотрел на дверь. Бывает всякое.

Вопреки своему внешнему виду, самолёт очень быстро набрал обороты, легко заскользил по снегу и ни с того ни с сего взял да и полетел.

Под его брюхом уныло поплыл серый снежный город, за ним светлой извилистой полосой ушла река, мелькнул небольшой, стоящий поодаль посёлок с тёмной ниткой автодороги, и полетела под крылом однообразная белая тундра. Впереди перед ними висело солнце – злое, колючее и холодное. Внизу по снегу бежала от него сверкающая дорожка, почти такая же, какая бывает на воде вечером, с той лишь разницей, что смотреть на неё было мучительно больно. Американцы тут же достали тёмные очки, а Сашка просто отвернулся – что он, «дорожки» не видел? Откинувшись в кресле, насколько это было возможно, он прикрыл глаза и попробовал обдумать предстоящую съёмку. Думалось с трудом. Малочисленные народы Севера превращались в его воображении чуть ли не в исчезающие. Сашку охватила лёгкая дрема, сопротивляться ей не хотелось.

– Не спи, – услышал он сквозь пелену, – а то вывалишься на вираже.

Сашка приоткрыл один глаз и увидел улыбающегося дядю Мишу, который тут же наклонил корпус вбок вместе со штурвалом, и самолёт дал крен на правое крыло.

– Меняем курс, – сказал громко на это дядя Миша, – юго-восток! Это хулиганство, понял!

– А зачем?

– Если женщина просит... – кивнул он через плечо в салон.

– А как же хребет?

– Ишь ты! – мотнул головой тот. – Горы, знаешь. Как подлетим – увидишь!

Подлетели к горам довольно быстро. Не успел Сашка ещё разок задремать, как увидел проплывающую под ними невысокую сопку. Он глянул в окно – сопки громоздились одна над другой, дальше на востоке разливаясь в горную цепь. За ними темнел огромной монолитной массой сам хребет. Даже издали было видно, что хребет не имел ни ущелий, ни тем более долин, вырастал из земли как стена, созданная из одного невиданных размеров камня. Местные кочевники его и звали – Красный Камень.

Американцы сгрудились возле окна, что-то оживлённо обсуждая, и поочередно тыкали пальцем в горный отвесный массив. Самолёт летел прямо на отвесную стену. На её поверхности не было никакой растительности. Лишь несколько небольших ледников приютилось в громадных трещинах хребта да толстенные каменные «зубья», называемые «болванами», выросли на вершине Красного Камня, у подножий они были укутаны воздушной припорошью снега. Перед самой стеной самолёт сделал вираж и пошёл вдоль этой каменной громадины на юг. В местах этих Сашка никогда не был и потому был

готов к любому сюрпризу. Очень скоро в горе показался разлом – небольшой, но очень глубокий, ровный по краям.

Дядя Миша повёл машину прямо в разлом. Когда самолёт вошёл в этот каменный коридор, дядя Миша торжествующе посмотрел на Сашку и подмигнул: видал? Потом кивнул через плечо: глянь-ка, парень, назад. Сашка обернулся и увидел, что Фрэнк перекрестился, Макс впился глазами в иллюминатор, и лишь бесстрашная Элизабет носилась от одного борта к другому с небольшим фотоаппаратом и щёлкала им, прижимая объектив вплотную к стеклу.

Дядя Миша вновь весело посмотрел на Сашку, тот продемонстрировал символическое рукопожатие. Молодец дядя Миша, пусть знают наших! Самолёт шёл в теснине меж двух отвесных стен. Вокруг было сумрачно, угрюмо и довольно жутковато. Солнце сюда заглядывало редко и очень ненадолго. Внизу среди разбросанных валунов лежал неестественно синий снег. На стенах снежников не было, только небольшая белая паутинка в скальных трещинках как-то умудрилась зацепиться с одного бока. Впереди синело небо и угадывался горизонт.

Миновав хребет, самолёт вышел из каменной горловины и пошёл над белыми остроконечными высотками. Небольшие ложбины между ними были усеяны густой хвойной растительностью. Очевидно, летом здесь вовсю бурлили ручьи и бежали небольшие речки. Вершины многих высоток были щедро утыканы рядами пирамидальных лиственниц. Всё вокруг дышало первозданностью и ощущением какой-то затерянности этого снежно-каменного мира. Самолёт вновь повернул на восток, и опять перед ними зависло солнце. Горы понемногу мельчали, снега на отрогах становилось всё больше. Проплыли внизу два небольших озера светлыми вдавленными лепёшками. С севера на юг рассекала сопки заснеженная лента горной реки.

Вскоре горный ландшафт отступил, и во все стороны потянулась всё та же необозримая тундра. Самолёт полетел над белой и с виду совершенно безжизненной равниной. Снег, снег, бесконечный снег.

Очень быстро Сашка устал смотреть на эту однородную, одноцветную массу кристаллизованной воды, закрыл глаза и недолго думая опять уснул. Не помешали ни воздушные ямы, ни шум мотора. За свою многолетнюю операторскую практику Сашка столько раз бороздил просторы Арктики на вездеходах, вертолётах, самолётах, речных катерах, что уже выработал умение спать в любых условиях. Под монотонный гул мотора спалось всегда спокойно и хорошо. Сашке снились доллары, обращённые в рубли, и рубли, обращённые в продукты. Просто полный холодильник самых разнообразных продуктов. Больше не снилось ничего, одна сплошная еда...

Внезапно Сашку дёрнуло вперёд, и холодильник исчез. Он открыл глаза, увидел ту же белую тундру и то же синее небо. Часы показывали полдень. Сашка посмотрел на дядю Мишу и вмиг прочитал на его лице крайнее напряжение. Американцы в салоне тоже испытывали некоторую тревогу. Сашка посмотрел в окно, но ничего естественного не увидел. Он проспал чуть больше часа, и, очевидно, что-то произошло...

Ровный гул мотора внезапно оборвался, что-то там впереди «чихнуло», и самолёт опять зарокотал привычным звуком. Дядя Миша дёрнул нервно головой. Глаза его пробежали по приборам... Похоже, сейчас это было столь же полезным, как поводить пальцем по стеклу. Самолёт вздрогнул и провалился вниз. Мотор затарахтел очень безалаберно, как бы нехотя, потом вдруг заревел, и машину потянуло вверх, но тут же сквозь рёв двигателя стал пробиваться какой-то посторонний стук, после чего самолёт уже явно пошёл на снижение. Машина планировала, постоянно проваливаясь в «ямы». Это походило на спуск по невидимой небесной лестнице. А снег, этот холодный, необозримый и бесконечный снег приближался к ним с каждой «ступенькой», с каждой секундой. Сейчас, неотвратимо, страшно, с какой-то фатальной неизбежностью. Руки людей вцепились во что попало, взгляды не отрывались от занесённой снегом земли, у всех билась одна и та же мысль: «Тундра ровная, сядет самолёт на снег, у него лыжи... Дядя Миша посадит... не имеет права не посадить...»

Уже можно было различить, что внизу тундра была довольно холмистая, земля всклокочена огромными кочками. И чем быстрее самолёт приближался к ней, тем очевиднее становилось, что сесть между ними не было никакой возможности. Мотор окончательно заглох, лопасти замёрзли. Вокруг стало тихо. Свист ветра за окном да яркое солнце...

Самолёт зацепил лыжёй вершину одного холма, его подбросило вверх с жутким металлическим треском, и за стёклами взлетел вихрь снега. Людей подкинуло под потолок, кто-то крикнул, кто-то застонал. Через пару секунд самолёт уже планировал на следующую «кочку», казалось, он вот-вот врежется в неё своей тупой «мордой», но машина умудрилась продержаться в воздухе лишнее мгновение, и лыжи вроде как сами сели на снег. Самолёт скрипнул и легко покатил вниз по склону этой «кочки». Со стороны дяди Миши донеслось радостное мычание. В салоне послышалось такое же оживление.

Но радость была недолгой, хоть «кочки» и кончились и самолёт мчался на скорости уже по запорошённому снегом льду небольшого озера. Озеро тоже было крошечным... не озеро, а болото какое-то, не разгонишься. С трёх сторон его окружал обрывистый берег, впереди надвигался слоистый каменный утёс. Огромная сила инерции несла их на прибрежные скалы. Перед самым берегом дядя Миша попытался увести машину в сторону, совершив поворот... ничего не получилось. Самолёт ударился одним крылом об обрыв, повалился на бок, тут же затрещала другая плоскость, и с жутким треском и хрустом хвост самолёта начало задирать в небо... Машина встала вертикально на мотор, качнулась, секунду простояла и рухнула обратно, пробив снег до самого льда.

Все, что могло передвигаться и летать внутри салона, сгрудилось возле пилота. В самолёте воцарилась тишина, тишина первого шока. За бортом журчал ручеёк...

– Все живы? – глухо спросил дядя Миша.

В ответ прозвучало известное всему миру американское ругательство. Пассажиры зашевелились.

– А как мне определить, живая я или нет? – очень спокойно и трезво спросила Элизабет. Похоже, шока она не испытала и говорила больше для других, чем для себя.

– Руками пощупай, – прохрипел дядя Миша.

– Бобик сдох, – зачем-то сказал Сашка.

Дядя Миша осторожно встал с кресла и, ничего никому не сказав, пошатываясь, вышел наружу. Лицо его было в крови, одной рукой он осторожно смахивал с воротника осколки стекла, другую так же осторожно прижимал к груди. Сашка потрогал свою челюсть, обернулся на американцев: те сидели спокойно, слегка шевелясь и осматривая себя. Элизабет безучастно смотрела в разбитое окно. Похоже, иностранные гости испытали лишь лёгкий испуг, если не считать разбитых носов и царапин на коже... Сашка поднялся, хрустя стеклом, и вышел за дядей Мишей. Тот стоял рядом с самолётом, бессмысленно и грустно глядел под фюзеляж. Там, мило журча, на лёд вытекало горячее, образуя на нём узоры бледно-розового цвета.

– Надо бы немного набрать, – кивнул Сашка, – может пригодиться... для костра. Посуда есть?

– Что? – вздрогнул дядя Миша. – Ах, да, конечно. Это верно.

И ушёл в салон. Распластанный самолёт лежал брюхом на разметавшемся снегу. Шасси были сломаны под корень. Покалеченный винт, вернее, то, что от него осталось, походил на куцию металлическую фигу. Правое крыло, трещавшее на повороте, обломилось обоими плоскостями по самый корпус. Левое выглядело не лучше. Вид у машины был довольно жалкий и безнадежный.

По каменным уступам скал Сашка взобрался наверх и осмотрелся. Во все стороны света тундра уходила белым полотном за горизонт. Повсюду были разбросаны вдавленные светлые пятна заметённых снегом озёр да оставшиеся с западной стороны горные отроги. Над головой синело холодное небо заполярной весны и слепило глаза злое мартовское солнце. Загореть под таким солнцем можно, согреться – никогда. Сашка спустился вниз.

Дядя Миша сидел на корточках возле разбитого самолёта и завинчивал крышечки на двух пластмассовых бутылках, доверху наполненных авиационной горючкой.

– Гости не выходили? – спросил Сашка.

Дядя Миша помотал угрюмо головой, зачерпнул горсть снега и обтёр им руки.

– Они там... меня костерят. Красиво! По-английски...

– С чего ты взял?

– Слышал, – проворчал он, – эта Лизка пицчала: «Дядья Мишья, дядья Мишья!..» Иностранча, сучья порода!

Он ещё зачерпнул снег и вытер лицо, потом осмотрелся кругом, словно определяя место нахождения, и, не глядя на Сашку, спросил:

– Как думаешь, сынок, куда двинем?

– Думаю, на север.

– Молодец, – как-то ни к месту похвалил он, – не сиропишься и думаешь верно. На вот, глянь! – Он достал из-за пазухи карту. – Я тут прикинул: километров пятьдесят на север есть зимовье на озере...

Халембой. Выйти несложно, через реку – не ошибёмся. Озеро большое – рыболовное.

Сашка глянул на карту: запад, юг, восток действительно отпадали – везде голая тундра, ничего вокруг. На севере же голубым пятном вокруг зелени, обозначавшей равнинную тундру, было отмечено озеро, рядом – чёрная точка со словом «изба».

– Халембой-то, – прочитал Сашка вслух название озера, – это что-то наподобие «довольно рыбное озеро»?.. Что у нас с тобой есть, дядь Миш?

– С собой? – прикинул тот. – Да ничего! Тормозок у меня есть. Тулуп овечий старый в салоне валяется...

Он смущённо пожал плечами.

– Ясно, – пробормотал понимающе Сашка, – пойду к американцам. Пусть собираются.

В салоне самолёта он увидел полную решимости Элизабет и рядом, по бокам, группу поддержки.

– От имени Соединённых Штатов мы заявляем решительный протест вашей авиакомпании и муниципальным властям!..

– Стоп, стоп! – поднял руку Сашка.

Элизабет остановилась на полувыходе.

– Значит, так, – Сашка шмыгнул носом, коснувшись его указательным и большим пальцами, – вот если мы живы останемся, тогда будут протест, декларация и контрибуция. Годится?

– Как «живы останемся»? – Элизабет изменилась в лице. – Разве?..

– Разве мы не по вашей просьбе изменили маршрут? – воспользовался он информацией. – Искать нас будут много севернее. Когда найдут и... в каком виде – одному Богу известно. Здесь оставаться нельзя, окна выбиты, заделать их нечем. – Он подумал и добавил от себя: – Бак течёт... лёд тает, через час самолёт уйдёт на дно озера, связи с материком нет. Андестенд? Собирайтесь быстро. Времени у вас нет. Вопросы?

Американцы молчали.

– Что вы можете нам обещать? – спросила требовательно Элизабет.

– Пообещать могу. Через час чудесное весеннее солнце могут скрыть свинцовые низкие тучи, и здесь на неделю завоет пурга. Больше ничего.

– И куда мы должны идти? – не унималась американка.

– Полсотни километров на север. Собирайтесь!

Он моргнул им обоими глазами, кивнув при этом головой. Жест этот выражал что-то наподобие: держись, мол, Америка!

Через час пешей прогулки Сашка понял, что пятьдесят километров на север – это будет тяжело и долго. Фрэнк в минуту натёр ногу, Макс тут же вслед сообщил, что у него открылись «старые раны», и в подтверждение сказанному захромал, припадая в коленном суставе на свою правую конечность. Одна лишь Элизабет была неутомима и неуязвима для очередного испытания. За целый час она не проронила ни слова, шла вслед за дядей Мишей, ни разу не обернулась ни на стонущего Фрэнка, ни на охающего Макса. Сашка шёл замы-

кающим, неся в рюкзаке аккумуляторы и кассеты, а на плече – кофр с кинокамерой.

Снег был прочен, как бетон, следы на нём практически не «читались». Белое полотно бескрайней тундры мягкими изгибами перекачивалось с одного подъёма на другой, от одного овражистого ручья к следующему. В оврагах, на заметённых руслах из-под снежного покрова выглядывали разлапистые кусты. Снег был рыхлый, мягкий, с неисчислимыми вереницами следов. Кое-где можно было встретить заячью «петлю» и ровную дорожку пробежавшего по своим делам песка. Тундра жила здесь так же, как и тысячу лет назад: ровно, холодно и спокойно. Как и тысячу лет назад, поднималось на южной стороне солнце. Морозное, стылое, мартовское солнце. Под солнцем снег искрился, переливался, создавая приветливый северный экзотический пейзаж. Хорошо на него смотреть из кабины или салона тёплой машины.

Дядя Миша шёл, набросив на себя старый длинный овечий тулуп, уложив в карманы пластиковые бутылки с горючим, и издали походил на горца в потрёпанной бурке. Он шёл неторопливо, даже медленно, явно щадя прихрамывающих Фрэнка и Макса. Иногда озирался по сторонам, словно пытаясь узнать окружающую местность. Но она, увы, была везде одинаковая – белая, белая и белая...

Часа через три маленький отряд остановился. Точнее, остановил его дядя Миша, а остальные встали автоматически. Макс тут же сел на снег и принялся осторожно массировать больное колено, Фрэнк снял обувь и внимательно её изучал, пытаясь найти причину неудобства. Сашка подошёл к дяде Мише.

- Привал? – Он снял с плеча камеру.
- Да нет, – дядя Миша посмотрел назад, – смотрю, верно ли идём...
- Верно, – выдохнул Сашка, – я иногда контролирую.
- У тебя компас есть?
- Я по солнцу... и по часам, – Сашка обнажил запястье, – по циферблату.
- Лихо! – усмехнулся дядя Миша. – А верно?
- Не сбивался ещё.
- Голь на выдумки хитра, – донеслось от Элизабет.

Дядя Миша и Сашка переглянулись.

– Видал, как шпарит! – улыбнулся беззлобно дядя Миша.

К восемнадцати часам, когда солнце садилось, горизонт заливался оранжевым светом, а в другой стороне небо начинало меркнуть, группа порядком уставших людей вновь остановилась. Через два часа наступит ночь. Она будет не из коротких – с шести до шести. Вполне вероятно, может задуть ветер и даже подняться метель, и уж, без сомнения, на все двенадцать часов, а то и более, температура понизится на десяток градусов. Надо было думать о ночлеге.

– Ровно всё, – печально заключил дядя Миша, – не приткнёшься. Хоть яму рой.

Американцы промолчали. Элизабет сняла свои тёмные очки, чудом уцелевшие при посадке, и тяжело взглянула на Сашку, как бы ожидая от него решения. Фрэнк и Макс, позабыв о своих болячках, бессмыс-

ленно смотрели то на снег, то на уходящее солнце. День закончился. Впереди была ночь. Морозная, совершенно непредсказуемая ночь.

Сашка снял рюкзак, поставил рядом кофр с камерой. Осмотрев совершенно спокойно своих спутников, ровно спросил:

– Ножи у кого есть?

Американцы помотали отрицательно головами. Дядя Миша достал небольшой складной ножик, показал Сашке:

– Такой подойдёт?

Тот вздохнул громко, развязал рюкзак и вынул оттуда охотничий тесак чуть ли не в локоть длиной.

– Вот такой пойдёт, – негромко сказал он, вынул тесак из ножен двумя пальцами и с уровня груди отпустил – нож вошёл в наст лишь наполовину.

Сашка опустился на колени, взялся за ручку ножа и вырезал в снегу кубик размером полметра на полметра. Аккуратно вонзил по бокам ладони и достал кубик снега.

– Дядь Миш, – Сашка посмотрел на него, – будешь такие вот кубики нарезать. Учиться некогда, так что старайся. А вы втроём будете их ко мне носить.

Сашка поднялся, оглядел ближайшую местность.

– Сюда вот носить будете, – кивнул он, посмотрел, как реагируют американцы, и договорил: – Снежную иглу будем строить. Эскимосскую.

И ушёл с кубиком снега на место, что определил. Там громко сказал:

– Времени нет. Начинаем сразу.

На месте построения ледяного жилища Сашка протоптал круг диаметром около трёх метров, прикинул, в какую сторону делать вход-выход, и аккуратно положил в круговую борозду первый снежный кирпич. Уложенные по кругу такие кирпичи должны были на высоте человеческого роста образовывать купол, держась друга за друга. Если после постройки иглу внутри зажечь что-либо наподобие паяльной лампы или крошечного костерка из сухого горючего, то внутренняя сторона снежных стен подтаивает, и иглу как бы спрессовывается и может выдержать любую пургу, любой по силе ветер. Температура в ней достигает плюсовой. Сашка много раз с друзьями участвовал в построении таких снежных домов, но сам лично стены не возводил никогда. Однако учиться времени не было. Дядя Миша, стоя на коленях, аккуратно вырезал кирпич за кирпичом, американцы носили их к Сашке. Всё происходило в абсолютной тишине. Лишь скрип снега да изредка чьё-то сорвавшееся дыхание.

Солнце уходило. По горизонту разливалась заря. Заря была светлая, сильного мороза не ожидалось. Севернее заката зажглась на небе первая звезда. «Звезда» была планетой Юпитер.

За два часа работы Сашка возвёл стены и уже принялся сводить купол. Иглу получалась хоть и не очень ровная, но, похоже, крепкая и устойчивая. А посреди голой, пустой тундры вообще выглядела как дом.

Дядя Миша, ползая на коленях, истоптал площадь в несколько десятков квадратных метров, резал кубики быстро, автоматически. За

всё время от него лишь один раз донеслось что-то наподобие: «Снегу наколупал, ровно олень на пастбище».

Американцы работали методично, размеренно, как три призрака, безмолвно перемещаясь от дяди Миши к Сашке и обратно. Минута за минутой, кирпич за кирпичом, взрез снега ножом, скрип под ногами, монотонное, чуть хриловатое на морозе дыхание, тающий на глазах свет, темнеющее небо и уже взошедшая, ещё жёлтая, большая и пока бесполезная над горизонтом луна.

Не успела луна набрать полную силу, как Сашка вышел из снежной «юрты», осмотрел её со всех сторон, прорезал аккуратно отверстие сверху для выхода гари от огня, кое-где затёр неровности на стенах, похлопал довольно рука об руку и оглянулся на своих помощников. Дядя Миша встал с колен, американцы остановились.

– Готово, – как можно радостнее улыбнулся Сашка, – можно ночевать!

Улыбки никто не увидел, Элизабет бросила очередной кирпич, стяхнула с себя снег и молча вползла в иглу. Фрэнк и Макс последовали за ней. Дядя Миша подошёл к Сашке и тихо сказал:

– Устали они... непривычные. Пойдём?

Они впихнули внутрь свою поклажу и вползли сами, причём тучный дядя Миша слегка расширил собой вход-выход.

Внутри иглу было темно, едва угадывались контуры людей, однако, словно сговорившись, все уселись на снег по кругу возле стен. Дядя Миша плеснул в какую-то срезанную узкую посудину наподобие пластиковой бутылки горячее, бросил туда тряпку, поставил в центр и поджёл. Иглу озарилась красноватым светом, огонь выхватил измождённые лица, не выражавшие ничего, кроме усталости и безразличия.

Сашка взял свой тесак и быстро отхватил от старого тулупа, что нёс на себе дядя Миша, оба рукава. После распорол их вдоль – получилось два маленьких коврика. Один отдал Макс, другой Фрэнку.

– Это под себя, – пояснил он, – а остальной тулуп – под барышню. Приподнимись, – попросил он Элизабет.

Усадив иностранцев, он оглянулся на дядю Мишу, тот мгновенно среагировал:

– У меня меховые штаны. Сам-то как?

Сашка перевернул на бок кассетницу от кинокамеры и сел на неё как на большую коробку. Часы показывали двадцать ноль-ноль. Впереди было ещё десять часов полной темноты, ночного особенного холода и утомительной борьбы со сном. Он всё одно сморит каждого. Каждого в своё время: кого – сразу, кого – через час, кого – под утро. Первым будет мучительнее всех. Борись потом с постоянно падающей головой, слипающимися глазами, затекающими конечностями и пробирающим насквозь ознобом. Человек во сне да под снегом остывает быстро.

Первое время они сидели молча, попеременно протягивая руки к огню, хотя никто ещё не успел замёрзнуть. Это было интуитивно. Плошка с горячим слегка коптила, дым волнистыми линиями поднимался к куполу и там вырывался лёгкими сизыми хвостами наружу,

внутри иглу разливался специфический аромат авиационного топлива. Макс что-то быстро шептал себе под нос, сложив руки у пояса в замок. Дядя Миша легонько толкнул Сашку локтем в бок, стараясь привлечь его внимание.

– С ним всё в порядке, – внезапно сказала Элизабет, даже не подняв на них глаза, – Макс читает вечернюю молитву.

– А что он её втихаря читает? – спросил дядя Миша. – Читал бы вслух.

– Когда говоришь с Богом, совсем не обязательно кричать, – ответила она.

– Скажи ему, пусть и за нас помолится, – проворчал дружелюбно дядя Миша, повернулся к Сашке. – Тормозок когда съедим?

Тормозок состоял из трёх бутербродов с маслом и колбасой. Поначалу один бутерброд хотели целиком отдать Элизабет, а два других разделить между мужчинами, но Элизабет наотрез отказалась от своей женской привилегии и потребовала разделить поровну между всеми. Трапеза оказалась очень короткой и молчаливой. Каждый пытался за три укуса обмануть себя, свой организм и пустой желудок. Не получилось ни у кого. Все пятеро остались практически голодными. О взятом НЗ Сашка промолчал: неизвестно, сколько ещё по тундре бродить.

Сохранилась ли изба на благословенном озере Халембой – никто не знает. А если и сохранилась, кто поручится, что там может быть запас хоть чего-то съестного? Крупы да сухарей, к примеру. О людях, о рыбаках... даже и мечтать не надо.

Ночь выдалась тихая. Луна набрала силу, поднялась в зенит, и через небольшую дыру в потолке иглу была видна часть тёмного небосвода, облитого её светом. Пламя в плошке слегка покачивалось от дыхания людей, чёрные тени за их спинами дрожали и дёргались. Огонь был слабым, но честно и добросовестно грел протянутые к нему руки. Сидеть на снегу, мягко говоря, было не очень удобно. Американцы устроились на своих ковриках по-турецки, скрестив под собой ноги, Сашка ёрзал на кассетнице, а дядя Миша вообще прилёг на бок, подперев плечом снежную стену. Вход закрыли кофром с камерой и рюкзаками. Понемногу температура стала повышаться.

– Когда будет рассвет? – негромко спросила Элизабет, не поднимая глаз от огня.

– После шести утра, – столь же тихо ответил Сашка.

Элизабет посмотрела на часы, помолчала и вновь поинтересовалась:

– Мы спать не будем?

– Как сможем. Если выдержите, не спите часов до двух-трёх ночи. Меньше вероятности простудиться.

– Только простудиться?

Сашка горьковато усмехнулся.

– Живы, конечно, останемся... – он запнулся, – если волки не съедят.

Американцы подняли головы.

– Есть вероятность, что на нас нападут волки? – спросила тревожно Элизабет.

– Бывает. Здесь всё бывает. Забрёт какая-нибудь стая... с «дикого запада».

– У нас нечем защищаться? – совершенно ничего не услышала Элизабет.

Сашка помотал головой. В иглу повисла тишина. Очень нехорошая, зловещая, чёрная тишина человеческого напряжения от внезапно появившейся опасности. Страх стоял рядом. Американцы, как сговорившись, подняли на Сашку глаза. Про стаю Сашка не врал, и все это поняли. Дядя Миша не проронил ни слова.

– Да ладно вам, – спохватился Сашка, – волки ночью спят.

Тут же понял, что сморозил глупость, и быстро добавил:

– Да и весна уже. У них сейчас брачный период. Им не до нас.

Поверили американцы или нет, осталось неизвестным, но руки, протянутые к огню, шевельнулись разом, и ощутимая обречённость незаметно растаяла. Дядя Миша приподнялся на локте и поведал назидательно:

– Я двадцать пять лет отлетал в тундре. Волки зимой всегда возле оленей держатся. А оленей здесь на сто вёрст не сыщешь.

Это сообщение почти полностью успокоило американцев, лица их смягчились.

– У вас есть какой-нибудь план на завтра? – спросила Элизабет.

Сашка только сейчас понял, что не замечает её лёгкого, скользящего акцента. Похоже, к выговору по мере общения с человеком привыкаешь так же, как к походке, и такая деталь в разговоре даже становится какой-то неотъемлемой индивидуальной особенностью.

– План один: добраться до озера Халембой. Там должно быть зимовье.

– Зимовье?

– Избушка... дом.

– Дом... – Элизабет хотела обрадоваться. – Там есть связь?

Сашка тяжело вздохнул.

– Хорошо, если там хоть печка целая.

– Было бы неплохо, если бы там были рыбаки, – донеслось от дяди Миши.

На том разговор и закончился. Американцы как по команде опустили головы, очевидно, рассуждая, отчего в России на охотничьих и рыбачьих заимках рушатся печки...

За стенами иглу, над тундрой, лежала полная ночь. От горизонта до горизонта распростёрлось чёрное небо с неяркими переливающимися точками звёзд, а над самой южной стороной, набрав высоту, сияла луна, заливая вокруг себя светом чуть ли не половину небосвода. Снег уходил под всей этой красотой в необозримую даль тундровой ночи. Там он чернел, сливаясь с небом, незримо и неразлично чёрное уходило в чёрное – земля соединялась с космосом, и казалось, низкие звёзды своими лучами касаются её краёв. Тишина стояла необыкновенная.

Время шло медленно. Слабый огонь едва успевал согреть иглу. Раз от разу дядя Миша, кряхтя, поднимался с отлёжанного бока, добавляя в плошку горючее, и, так же кряхтя, заваливался обратно.

Элизабет долго сопротивлялась усталости, но в конце концов свернулась калачиком на своём меховом коврике, поджав ноги к самому подбородку. Макс уткнулся в сложенные руки на коленях, а Фрэнк был единственным, кто спал, потому как сопел столь громко, протяжно и старательно, что колыхалось пламя. Сашка не сомкнул глаз ни на секунду. Он знал, что не сможет сейчас уснуть, он вообще мог не спать по трое-четыре суток, совершенно не теряя при этом энергии, пока какая-либо экстремальная ситуация не разрешалась благополучным исходом. Потом он, конечно, уснёт, уснёт где угодно: на снегу, на полу, в холоде, в жаре... Организм выдохнется, и он отключится. Он – обычный человек, без спецподготовки. Он знал свои возможности и потому не должен был израсходовать их до того времени, когда условия для людей станут безопасными. В тундре для него это был закон номер один. Героем при этом себя Сашка не ощущал.

Часа за два до рассвета проснулись все – и кто спал, и кто безуспешно пытался это сделать или просто убедить себя в том, что спал. Проснулись от холода. Сидеть, а то и лежать на снегу, пусть даже под вами овечий тулуп, всё одно зябко. Скованный, недвижимый человек замерзает очень быстро. Маленький огонёк, плясавший всю ночь посреди иглу и заботливо поддерживаемый дядей Мишей, был единственным островком тепла и возможности продержаться столь долго в утомительной полярной ночи.

Элизабет села на колени, посмотрела на Сашку и передёрнула плечами:

– Холод собачий. А вы, Сашья, совсем не спали?

Он помотал головой.

– И не хотите?

Сашка мотнул ещё раз.

– Это правильно.

Сашка согласно кивнул.

– А почему вы молчите?

– Берегу силы.

Элизабет потянулась, как кошка, запрокинув голову и вытянув в стороны руки, тут же вновь передёрнулась и обхватила себя за плечи.

– У нас небо зелёное, – сказала она просто.

Сашка глянул вверх, в отверстие купола иглу, глянул хитровато на замёрзшую Элизабет, схватил её крепко за руку и потянул за собой, едва не опрокинув плоску с огнём.

– Быстро выходим! – скомандовал он, отодвигая камеру от входа и выбираясь из иглу наружу.

– К-куда выходим? – запищала она. – Там холод собачий!

– Сейчас согреешься, – бросил он на ходу и выдернул её из иглу.

Над тундрой полыхало северное сияние. Оно раскинулось на полнеба, было зелёным и немного волнистым. Если приглядеться, можно было заметить, что волны эти изредка перекатывались друг на друга. Сквозь сияние мерцали звёзды, мерцали обычно, неброско, даже бледновато, по-северному. Сашка недолго думая заставил Элизабет пры-

гать вокруг себя, что выглядело довольно глупо и по-ребячьи смешно в такой экзотической ситуации. Потом взял девушку под локотки и подбросил пару раз вверх, что вызвало у Элизабет небольшой взрыв веселья, она даже завизжала.

– Теперь ори что-нибудь! – приказал он, прихлопывая её по плечам и рукам.

– Как это – «ори что-нибудь»? – поинтересовалась Элизабет с американской деловитостью.

– А так... ори, и всё тут!

Она замешкалась, её взор метнулся вниз, пронёсся по тёмному снегу.

– И что мне орать?

– Ори... – Сашка подумал: – Мир, я люблю тебя!

Элизабет тоже подумала.

– Не хочу я это орать, – сказала она, – я вообще ничего не хочу.

– Вот же, чучело, – пробормотал Сашка, подхватил Элизабет на руки в один миг и пару раз прилично подбросил вверх.

– Сашья! – заорала во всё горло та. – Ненормальный! Уронишь!

– Наконец-то! – ответил он, опустив её на снег. – Теплее, правда?

– Русские шутки? – несколько в замешательстве спросила Элизабет.

– Глянь на небо, как играет!

Северное сияние начало колыхаться. Едва заметные волны превратились в длинные хвосты и разливались по небу во все стороны.

– В твоём Нью-Йорке есть такое?

– Нью-Йорк южный город, Сашья. Там нет такого, там есть многое другое. А что вы... ты... так радуешься?

– Жизнь люблю.

– Мило, – посмотрела она ему в глаза, – и вовремя.

– Ты вокруг оглянись... «Америка».

– Вы с ума посходили – вопить так ночью! – вылез из иглу на четвереньках дядя Миша. Поднялся на ноги, похлопал себя по бёдрам, попрыгал чуть и разрешил: – А впрочем, орите, всё веселее!

– А вы тоже крикните, – посоветовала Элизабет, – теплее будет...

– Прямо. Уже жара вокруг от меня пошла! Сейчас раздеваться начну. Ты, девочка, куда смотреть будешь?

– Зачем смотреть? – не поняла Элизабет.

– Затем, – проворчал дядя Миша и скрылся у неё за спиной, – надо мне тут недалеко пописать. Не оборачивайся, а то в обморок бухнешься.

Сашка весело фыркнул, а Элизабет пожала плечами. Чтоб никуда не смотреть, она запрокинула голову и рассматривала удивительную картину, нарисованную природой. Сияние как будто только и ждало этого – начало всюю колыхаться, играть, перестраиваться. Длинные хлысты его то сворачивались, то медленным «ударом кнута» простирались поперёк всего неба.

– Такое редко бывает, – сказал Сашка, – чтоб почти на всё небо...

Сияние тут же свернулось, как по команде, и ушло к горизонту, там поиграло чуть-чуть и пропало совсем.

– Эй, ты куда? – сказала ему вслед Элизабет. – Оно всегда у вас зелёное?

– А в Америке оно жёлтое? – съехидничал Сашка.

– В Канаде я видела ещё и красное.

– Бывает и красное.

– А вон Полярная звезда, – ткнула пальцем в зенит Элизабет, – а вон... Большая Медведица, а вот рядом что – я не знаю. Ты знаешь?

– Где? – подошёл Сашка вплотную сзади, склонил голову к её плечу, коснувшись своей щекой её вязаной шапочки.

– Да вот, чуть пониже Полярной, – сказала она, обернувшись к нему.

Сашка взял руку Элизабет в свою и провёл ею по небу сверху вниз.

– Если вон то, – сказал он, – то это Приполярная.

– Ой, как интересно! – с неподдельным восхищением сказала она.

«Кокетничает», – подумал Сашка. Выпустил её ладонь демонстративно легко и зачем-то, совсем, в сущности, ни к чему, вспомнил Ксюшу. Настроение мигом изменилось. Игривость исчезла.

– Воркуете? – прошёл обратно в сторону иглу дядя Миша. – Голуби тундровые, куропатки учёные.

– У вас небо другое, – сказала Элизабет просто.

– У нас его просто больше, – ответил Сашка уверенно-нахально и глянул на американку сверху.

Светало медленно. Почта незаметно. Небо светлело с восточной стороны, разбавляя черноту густой синевой. Потом от горизонта до горизонта синеву растворяло белёсой полоской, уводя ночь, гася звёзды и прогоняя сумрак на запад.

Рассвет на севере всегда долгий, такой долгий, что и ждать устаёшь. Иногда даже не поймёшь – то ли уже светло, то ли ещё темно. Причина тому – снег. От горизонта до горизонта один снег... белое всё.

Через час из иглу один за другим вылезли Макс и Фрэнк, чуть погода в снежном проёме показалась большая голова дяди Миши. Дядя Миша сразу сказал как определил:

– Воркуете всё? Дружба народов.

Макс и Фрэнк стуча зубами носились вокруг иглу галопом и трясли задами в прыжках не хуже австралийских кенгуру. Макс что-то бормотал себе негромко под нос, чем сразу вызвал неподдельную заинтересованность дяди Миши.

– О! – крикнул он ему. – Макс читает утреннюю молитву! Про нас не забыл, а?

Макс не ответил. Фрэнк остановился и спросил осторожно:

– Вы атеист? – понять его произношение было трудно, почти невозможно.

– По-русски спроси, – попросил дядя Миша.

– Он спрашивает, верите ли вы в Бога? – подсказала Элизабет.

– Я, сынок, – ответил ему дядя Миша, – полвека в коммунизм верил... и строил его вдобавок. Понял меня? Нет. Тогда скажу тебе по-англицки: ночь ты продрых в российской гостинице, а за постель ни гроша не взяли... А, понял теперь, что такое коммунизм по-русски?

– Это... гостиница? – не поверил Фрэнк.
– А как ты думал? – сощурился на него дядя Миша. – Ты сопел всю ночь без задних ног, а я тебе огонь держал...
– Без каких ног? – переспросил Фрэнк.
– Он серьёзно? – спросила Элизабет у Сашки.
– Русский юмор, – ответил тот, усмехаясь.
– Что, товарищи, остановились? – обратился дядя Миша к американцам. – Бегайте, бегайте. Я пока за вами бельё соберу. Трясуны американские. Го-ости заморские!

Когда на востоке погасли первые звёзды, маленький отряд выстроился перед иглу. Элизабет достала фотоаппарат, все переснимались в полумраке под дерзкими лучами вспышки и ушли дальше на север. Там, выше по широте, должна была стоять изба, а в ней должны были находиться рыбаки – единственная надежда, потому что Халембой-то так и переводится с местного наречия: «довольно рыбное озеро».

Иглу оставалась позади. В пути кто-нибудь обязательно оборачивался раз от разу назад и смотрел на своё ночное пристанище. Человек всегда нелегко расстаётся со своим ночлегом в такой ситуации, пусть даже и с холодным ночлегом. Неказистая постройка уменьшалась на глазах, пока совсем не превратилась в маленький белый холмик, в конце концов растворившийся в бесконечном снежном поле. Вокруг стало совсем одиноко.

Появившееся солнце немного смягчило состояние затерянности, но особой радости не прибавило. Мысли о полярных волках преследовали каждого. Каждый незаметно смотрел вокруг, каждый вглядывался в далёкий снег, каждый вспоминал вчерашний разговор, представлял голодную стаю и внутренне содрогался. Однако вслух об этом не говорил никто. По дороге ни стонов, ни жалоб на неудобную обувь или старые раны не раздавалось.

Перед выходом Сашка очень доходчиво объяснил всем: если не дойти до озера в один переход – сдохнем все. Строить ещё одну иглу к вечеру сил не будет, ночевать на открытом снегу – скорее всего, замёрзнем, потому как никто не даст гарантию, что к вечеру мороз не усилится. Кто не хочет сдохнуть, должен идти вместе со всеми и терпеть всё, что на них может обрушиться в пути. Жаловаться некому, медперсонал отсутствует, вокруг снег, волки, росомахи, холод и... то, что из всего этого вытекает. Больше ему сказать нечего, надо просто попробовать выжить.

Первым опять пошёл дядя Миша. Сашка попросил его не торопиться. Если изба на озере цела, они успеют дойти до неё и в полшага. Главное – под вечер не проглядеть. Обычно такие строения к весне заматает по самую крышу.

Ближе к полудню солнце перечертило небосвод, переместилось на южную сторону и «грело» спину. С северо-востока дул слабый ветер, совсем не ощутимый при ходьбе. Пару раз в синеве неба показывалась полярная сова. Люди, не останавливаясь, на ходу поднимали головы и любовались грациозным полётом птицы. Элизабет умудрилась успеть достать свой фотоаппарат и сфотографировать её, пока

северный небесный хищник не уплыл в сторону. В некоторых местах снег был просто испещрён норками леммингов и многочисленными вереницами их следов. На этом твёрдом насте они были видны в виде россыпи точек от коготков их лапок. На Севере, в Сибири такой наст называют убойным снегом. В него не проваливаются ни колёса машины, ни гусеницы тяжёлых тягачей. Под зимними морозами снег прессыется в бетон.

Сашка озирался в пути каждые пять минут. Шёл и думал: это как же им повезло! Так везёт раз и на всю жизнь: самолёт умудрился чудом сесть на склон холма, чудом не разбился о скалы, чудом не загорелся при перевороте, они переночевали в иглу, которую построили сами, хотя никто из них этим никогда не занимался. А ещё не ударил мороз под сорок и ниже, не завывала пурга, ветер – и тот стих, не дует. Под Богом идут...

– О чём вы сейчас думаете, Сашья?

Он поднял голову и увидел остановившуюся Элизабет. Она ждала, когда они поравняются, и пошла рядом с ним.

– Думаю, как хорошо, что мы не упали в джунглях.

– В джунглях? – чуть не рассмеялась она. – В джунглях я бы вытащила вас всех в два счёта. Я пять лет проработала в Восточной Африке, корпункт «Найроби».

– И вас не сожрали крокодилы?

– Нет. Меня хотели сожрать браконьеры.

– Что – никак?

– Никак, – вздохнула она и несколько задумчиво доложила: – Одному я прострелила плечо навывлет, другому голову... навывлет.

– Вы, Лиз, так спокойно называете оба эти органа...

– Результат, Сашья, один. Оба... как там? – сдохли.

– В плечо? – не поверил он.

– А пуля такая в автомате... дум-дум, в плечо вошла, а лопатку выбила.

– Весёлые воспоминания.

– Вам их жалко?

– Трудно сказать.

– Они бросили в меня гранату. Она попала в дерево... в дырку... в дупло в самом низу дерева, понимаете?.. Когда взорвалась – дерево рухнуло, мне придавило левую руку... Я стреляла с одной руки, как из пистолета... Попала. – Она помолчала и потом вспомнила: – Этот автомат был, знаете, какого производства? Правильно – российский. Хорошее оружие.

– Откуда вы так хорошо знаете русский язык?

– Я шпиёнка, – улыбнулась она, смотря на снег.

– Так вы после джунглей на север?

– Год работала на Аляске. Пробовали международный проект «Белый медведь».

– Медведей видели?

– Видела. Один раз. Они жёлтые. Такие бледно-бледно-жёлтые.

– Экология плохая?

Элизабет пожала плечами.

– Не знаю, может, у них окрас такой. Я мало их видела. Моё дело не за медведями гоняться, а с людьми разговаривать. Гонялся оператор.

– Жив остался?

– Он сейчас в вашей клинике, – чуть не рассмеялась она.

– Тогда – вопрос спорный, – повернулся к ней Сашка.

– Как спорный? Шутите?

– Шучу, – спокойно ответил он, – но с голодухи прикончить могут. Любишь его?

– Конечно, – она посмотрела на Сашку очень внимательно, – он ведь муж моей сестры.

– Ах, вот как! – сказал Сашка и пробормотал что-то наподобие: – Семейный телевизионный подряд.

Потом остановился, оглядел горизонт и, поправив на плече кофр с камерой, пошёл дальше, смотря под ноги. Элизабет все эти секунды стояла молча рядом и ждала, когда эта процедура окончится.

– Что будете делать, когда «их» увидите?

– Кого?

– Волков ваших полярных.

– Да ничего особенного. Выдам каждому по напильнику.

– Не понимаю. Зачем нам всем по напильнику?

– Зубы точить будем... каждый сам свои...

– У вас, Сашья, шутки дурацкие.

– Ого! – только и сказал Сашка.

Элизабет ушла вперёд. Сашка догнал её через несколько шагов.

– Я так говорю, потому что в это не верю, – примирительно сказал он.

– Не верите? – Элизабет вновь остановилась, внимательно посмотрела на него. – Почему? Хотите сказать что-нибудь ободряющее?

– Нет, просто не верю. Думаю об этом и этого не вижу.

– Вы обладаете таким даром?

– Не знаю. Но когда я что-нибудь не вижу, того и нет.

– Неплохо, – похвалила уже весело Элизабет, – а что вы видите?

– Халембой.

– Озеро?

– И ещё избушку... на курьих ножках.

– Русские сказки, – как самой себе сказала Элизабет. – А ещё что?

– Пойдёмте, – предложил он и зашагал, догоняя остальных, подхватив Элизабет под локоть.

– Так и всё же? – на ходу переспросила она.

– И всё же?.. Думаю, там жить придётся. Не боитесь?

– Что я должна бояться? – довольно пренебрежительно спросила она. – Голода? Смерти? С ума сойти?..

– Да вообще... – несколько абстрактно проговорил он.

– Вы служили в армии?

– Конечно.

– Проходили курс на выживание?

– В моих войсках этого не было.

– Ясно. Вы просто любитель острых ситуаций.

– Почему?

– Раз вы знаете, как строится эскимосская иглу. Нож у вас – как у настоящего охотника за пушниной.

– Я и есть охотник.

– Убиваете зверей?

– Бывало.

– Нравится?

– Когда хочется есть.

– Перебои со снабжением? – улыбнулась она.

– Перебои с работой.

– А где вы работаете?

– До вас – нигде, а до «нигде» – на телевидении.

– Жалеете, что ушли?

– Я не ушёл, – просто сказал Сашка, – меня «ушли».

– Вас ушли? Уволили? За что? – неподдельно удивилась та.

– За пьянство.

Солнце медленно тянулось к западу. Тундра была белая, как лист бумаги. Пространство было настолько безжизненным, что напоминало пустыню – ни песцов, ни зайцев, ни куропаток даже. Ничего вокруг. Мышиные норы да совы летающие.

Уже к вечеру они вышли к руслу заметённой узкой реки с высоким густым кустарником по берегам. Снег на реке был мягкий. Все заросли кустарника были исхожены куропатками, пара спугнутых стай затрещала крыльями столь громко, что люди опешили и остановились. Тут же Сашка увидел ровную «дорожку» песка, рядом другую, её пересекала заячья «петля». Волчьих следов, этих четвероногих «санитаров», видно не было. Может, и вправду повезёт?.. Американцы охали, ахали, тыкали пальцами в следы и что-то лопотали на своём американском языке. Дядя Миша подошёл к Сашке и негромко произнёс:

– Еды, похоже, навалом. Было бы чем её ловить.

Сашка кивнул, не останавливаясь. Понемногу он выдыхался. Камера, рюкзак, кассеты, аккумуляторы, прочие принадлежности – килограммов шестнадцать будет. Перейдя реку, они поднялись на невысокий, но крутой берег и пошли дальше по такому же привычному убойному снегу, по нескончаемому тундровому подъёму, уходящему куда-то в небо. Сашка всё чаще стал сверять часы с солнцем. Дядя Миша постоянно доставал карту. Американцы хромали необыкновенно, Элизабет молчала и шла как заведённая – ничего не видя, ничего не слыша.

Солнце сидело на самом горизонте, нижний край его уже опускался за далёкую земную кромку, когда люди вышли на подъём... Дальше раскинулась та же тундра. До ночной темноты оставалось чуть больше часа. Светло-жёлтая луна зависла напротив. День уходил на запад, с востока на них шла ночь. Длинная, тёмная и холодная ночь, с таким же холодным, неконтролируемым человеческим ужасом. Люди с тоской посмотрели на солнце. Солнце таяло. Перед ними лежала тундра, тундра, тундра. Сашка снял шапку и тихо сказал:

– Пришли.

Дядя Миша тут же заглянул в карту и даже поводит по ней пальцем.

– Куда? – выдохнула Элизабет.

– Халембой, – ответил Сашка. – Вы что хотели увидеть? Голубую гладь воды в окружении седовласых гор, что отражаются снежными шапками?..

– Так где же озеро? – смотрела перед собой вниз с подъёма Элизабет.

– Вон внизу кромка снега тёмного, видишь? С километр.

– Кромку вижу.

– А больше ничего и не увидишь. Озеро под снегом, другая сторона – за горизонтом..

– А дом? – дрогнул голос у Элизабет.

– Дом? – удивился Сашка. – Так вон же собачья конура с двумя окнами..

– Конура? – переспросила она.

– Он пустой, как мертвец, – сказал дядя Миша.

– Ничего, – Сашка приободрился, – был бы цел да печь работала.

Озеро действительно ничем на первый взгляд не отличалось от тундры – низкий берег, кое-где даже не тронутый снегом, столь же крепкий наст на поверхности льда, всё одноликое, унылое, безжизненное.

Дом стоял недалеко от озера и представлял собой сборно-щитовое строение с полувековым стажем. В нём было две комнаты: в одной находились нары, сколоченные от стены до стены, стол с ножками крест-накрест, две чудом сохранившиеся табуретки, сварная железная печь, лавка рядом. В другой комнате ничего не было, кроме мелкого мусора, некоторого количества дров, разбросанных кусков угля, досок, мятого таза и такого же мятого ведра. Самым ценным, что сразу нашёл Сашка, была едва начатая пачка соли, находившаяся в совершенно целой кастрюле с оторванными ручками. На всём лежала печать запустения. По обеим сторонам входной двери, ко всеобщему удивлению, имевшей засов, находилось два окна – одно чудом сохранило латаные-перелатаные стёкла, другое было заколочено досками и затянуто плотным полиэтиленом двадцатилетней давности.

– Занимайте места, – объявил Сашка, когда все осмотрелись, и задвинул всю аппаратуру под нары вместе со своим рюкзаком.

После внимательно осмотрел печь, заглянул в её нутро, тихонько сказал что-то самому себе и вышел наружу. Через минуту, за которую остальные ещё не успели как следует осмотреться и слышали топот по крыше, Сашка появился с огромным ржавым цилиндром в руках.

– Хорошо, хозяин крышкой трубу закрыл, – сообщил он, – будем пробовать.

– Можно я? – внезапно спросил дядя Миша. – Огонь – моя страсть, из меня всегда был хороший костровой на пикниках. Дайка мне свой тесак, Сашка, в той комнатёнке дровишки есть. Пойду постругаю.

Отдав дяде Мише свой нож, Сашка взял кастрюлю без ручек и вышел наружу мыть да чистить. Американцы сидели на нарах, тупо

наблюдая за всеми этими хозяйственными приготовлениями. Весь вид их говорил: а зачем это всё?..

Обойдя дом, Сашка нашёл один незаметённый угол, похоже, находившийся на продувном месте, разгрёб лёгкую припорошь и бросил горсть песка и мелкой гальки в кастрюлю. Вернувшись к крыльцу, он увидел Элизабет. Она протянула руку к кастрюле и устало, но твёрдо произнесла:

– Давайте, Сашья, я вымою.

Он остановился в нерешительности.

– Да тут скоблить надо... – начал он как бы в оправдание.

Элизабет довольно энергично взяла у него из рук посудину и, присев на корточки, яростно заскребла по дну. Кастрюля завизжала от песка.

– Я умею скоблить, – тихо сказала она.

– Ты не спрашиваешь, для чего кастрюля?

– Если ты пошёл, Сашья, скоблить – значит, пригодится.

Сашка несколько озадаченно глянул после этих слов на темнеющий далёкий горизонт, первые выстраивающиеся на небе созвездия и, испытав несколько странное чувство, ушёл в дом. Ему вдруг очень захотелось хоть на себе, но вытащить, дотащить из этих снегов её – живую и невредимую – в город, в цивилизацию. Обо всех остальных он сейчас забыл.

В избе дядя Миша уже заправлял печку дровами. Каждую щепочку дядя Миша укладывал, словно домик строил – лучинка к лучинке, хворостинка к хворостинке, крест-накрест, да чтоб по размеру подходили. Под самый потолок этой деревянной пирамиды дядя Миша затолкал пару приличных поленьев. Поднёс спичку. Огонь перескочил с неё на хворостинку, слабо пошёл по ней вверх, потом пламя вытянулось, ушло внутрь, метнулось по щепкам, разошлось по краям и тут же охватило всю деревянную конструкцию. Печка загудела.

Дядя Миша повернулся с победным выражением лица к американцам, достал не спеша из пачки сигарет одну, прикурил от лучины, опустив ту предварительно в самый печной огонь, и, попыхивая дымком, сказал – словно подвёл итог всему:

– Какюк, господа!

Фрэнк и Макс удивлённо переглянулись.

Вошедший Сашка полез под нары, вынул свой рюкзак, развязал его и вытащил пакет с НЗ. Высыпав на стол содержимое, Сашка задумался: на сколько дней ему теперь делить всё это? Всё это состояло из трёх пачек галет, по двадцать штук в каждой, да трёх пачек бульонных кубиков, по восьми штук в каждой. В рюкзаке оставалась ещё фляжка со спиртом, но спирт – еда тяжёлая и заводная... оставим до лучших времён. Сашка прикинул, на сколько дней можно растянуть такие «запасы»? Если дней на шесть, то выходило по две галетины на человека в день. Бульон? Бульон – штука, разводимая водой... Спиной Сашка почувствовал что-то неладное, повернулся: там стояли американцы, дядя Миша и смотрели на стол.

– Сашья, – сказал тихо, очень нормально Макс, – вы не продадите мне один кубик? Я имею сто долларов.

Хлопнула дверь, вошла Элизабет с кастрюлей в руках и поставила её на печку. Кастрюля была доверху набита снегом.

– Правильно? – повернулась она к Сашке.

– Правильно, – сказал тот, – подходи сюда.

В двух словах Сашка объяснил всем, «сколько» можно есть в день и на сколько дней тогда всего этого хватит. Несколько секунд стояла тишина. Потом Элизабет присела напротив Сашки на лавку:

– Значит, у нас в запасе шесть дней?

Он кивнул.

– Потом?

– Потом наступят трудные времена, – ответил Сашка.

Она была невозмутима, только спросила:

– Сегодня будем есть?

Во время ужина оказалось, что посуды в доме нет никакой. Самым запасливым вновь был Сашка. У него была и ложка, были и две кружки. Одну он в поездках всегда использовал как миску, другую – как рюмку. Ложку он отдал Элизабет. Кружками мужчины черпали бульон и пили как чай, маленькими глотками, стараясь растянуть удовольствие. Элизабет ела ложкой прямо из кастрюли. В избе становилось тепло, и сцена ужина была довольно семейной и милой.

В эту ночь Сашка долго не мог уснуть. Мысли постоянно возвращались в город. Он закрывал глаза и видел Ксюшу. Она сидела в кресле, Моська лежала у неё на коленях, Хан развалился у ног на полу. По комнате мягко разливался свет от торшера, негромко говорил телевизор. За окном тишина ночной улицы изредка нарушалась шумом редких машин, ругались нижние соседи: муж опять пьяный пришёл, звонил телефон... Город спал, укрытый снегом. Город спал в лунном сиянии...

Сашка лежал на нарах у самой стены, под окном, рядом лежал Макс, потом Элизабет, за ней Фрэнк, и завершал это лежбище дядя Миша. Дрова в печке почти прогорели, перестали трещать. Печь перестала гудеть, дверца её, слегка вечером раскрасневшаяся от жара, потемнела, только из небольшой щели вырывался тусклый свет от остывающих древесных углей и немного освещал неуютную, грязноватую комнату рыбацкой хижины. Сашка разглядывал закопчённый потолок из фанеры, где не было ни единого живого места, и, отвлекаясь ежеминутно от приятных мыслей, понимал: если их не спасёт счастливая случайность, надеяться им, в сущности, не на что. Один раз у него мелькнула мысль: «Лишь бы сдохнуть по-человечески... А какая может быть случайность? Вертолёт, вездеход, оленевод?.. Что ещё?.. Бестолочь тоже – не взял своё ружье... С ним хоть что-то можно предпринять. Был бы он один... Об этом лучше не думать, он не один. Интересно, сколько лет этому дому?.. Завтра наступит утро, и всё они решат... с дядей Мишей. Как там Ксюша? Наверное, думает, что он уже наснимал кучу плёнки, заработал кучу денег... Там сейчас тоже ночь. Сколько отсюда до города? Километров триста... чуть больше? Рядом совсем. Там цивилизация. Там помощь можно ждать отовсюду. Американцы эти ещё как в нагрузку... И Ксюша, наверное, уже спит. Спит и видит третий, может, пятый сон. Может, Мось-

ка свернулся рядом клубком и тоже спит тихонько... и Хан улёгся... Спят все... И город спит, укрытый ночным мраком».

А среди бескрайней снежной равнины, среди холода и мрака, между голодом и неизвестностью, во владениях неуловимых, как призраки, полярных хищников стоял крошечный, неказистый домишко, с небольшой невзрачной печкой, дымил трубой и не ведал, что уже одним своим присутствием уберёт, а может, даже и спас пятерых человек.

На следующее утро Сашка проснулся раньше всех. Солнце поднялось, и в избе даже с одним окошком было довольно светло. Тундра с вечера не изменилась, белое во все стороны света сливалось у горизонта со светло-синим. Выйдя наружу, Сашка забрался на плоскую, но покатую в обе стороны крышу избы и осмотрелся. Недалеко от них с южной и западной сторон серели извилистые полоски кустов, похоже, там проходили русла ручьёв с тальником. А где тальник, там и куропатка. Уже при первых шагах по снежному руслу Сашка обнаружил следы «ночёвки» куропаток. Стая была очень приличная и, очевидно, после утренней кормёжки снялась с места. Это было уже хоть что-то. Оставалось только придумать, чем «бить» эту куропатку. Или ловить?..

Днём он обшарил всю избу, но не нашёл ничего годного для изготовления охотничьих снастей. Ни проволоки, ни лески рыболовной – ничего, чтоб хотя бы «петлю» на куропатку поставить. Не зная, как и чем себя занять, он исходил все окрестности, все близлежащие места обитания живности, береговую линию озера и ближе к вечеру вновь перевернул всё в доме, пристально обследовав даже стены и потолки. Результат был нулевым.

Вечером вторая трапеза прошла в жуткой тишине. Сашке даже показалось, что все считали, сколько глотков бульона он сделал, сколько Элизабет залезла ложкой в кастрюлю, да и сам он вроде тоже считал и то, и другое. Пара галет хрустела у каждого на зубах, словно треск падающего сухостоя в глухом лесу. За весь ужин никто ни на кого даже не взглянул.

После трапезы Сашка вышел из дома, прошёлся немного вокруг избы и с тоской глянул на запад. Там, в стороне светлого, оранжевого заката, лежал за горами его Северск. Там осталось всё. Совершенно всё. Как теперь туда вернуться?..

Когда на тундру опустилась ночь, а от луны на снег легли мутные, неестественные тени, местность обрела жутковатый, мистический облик. Неказистая изба возникала из мёртвого, белого покрова, словно заколдованный замок, брошенный обитателями в страшную годину чумы или холеры. Слегка покосившаяся труба торчала на крыше жерлом артиллерийского орудия, ударившего в последний раз по неприятелю и теперь беспомощно дымившегося на фоне бездонного звёздного неба. В единственном уцелевшем окне вспыхивали отдалённые блики огня – блики походных костров, а может, горящих факелов в низких сводах каменных коридоров...

«Что-то я рановато начал с ума сходить», – подумал Сашка. Он уже два часа топтал снег возле жилища, взгляд его отчего-то посто-

янно упирался в озеро. Он мысленно повторял: «Халембой, Халембой, «довольно рыбный»...

Однако рыбы от этого не прибавлялось, а есть хотелось ещё больше. Впереди четыре дня, а дальше? Даже в самую отвратительную пору своей жизни Сашка не знал, что такое голод. Плохое питание, однообразное питание... ну, недоедание, наконец. Но голод? А что это? Может, то, что уже болел немного желудок? Подташнивало. Сашка начал вспоминать всё, что видел и слышал о подобных случаях: один уходит в маршрут до ближайшего селения, а остальные остаются на месте и ждут спасательной экспедиции. На словах красиво. А вот если он не дойдёт?.. Что тогда ждёт остальных?..

Из дома вышел дядя Миша, пролив на тёмную тундру узкую полосу света от горящей печки, хлопнул дверью и, присев на крыльцо, достал из кармана мятую пачку сигарет. Аккуратно пересчитал во тьме содержимое и доложил:

– Двенадцать штук. Каждую перед сном... одну в день. Двенадцать дней...

– Потом что? – отвлёкся Сашка от своих мыслей.

– Вертолёт прилетит, – уверенно сказал дядя Миша.

– Табак привезёт?

– И табак. Я загадал.

– Поделись?

– Нет, – дядя Миша прикурил. – Ты ничего не придумал?

Сашка молча помотал головой.

– За двенадцать дней можно и «дуба» врезать, – порассуждал дядя Миша, – это тебе не лечебная голодовка.

– Дались тебе эти двенадцать дней. Гости как?

– Завалились на нары. Лопочут там по-своему.

– Что-нибудь похожее на леску, нитку капроновую не встречал случаем? Проволоку, может?

– Я бы, Сашка, сам сразу побежал «петли» ставить на куропаток, кабы так.

– Хожу, места себе найти не могу. Чувствую: здесь, где-то рядом... решение, вот рядом крутится... в голове, а уловить не могу... Можно что-то придумать. Не может такого быть, чтоб выхода не было...

Он глянул в темноту и добавил:

– К озеру всё время тянет. Хоть руками лови.

– Ты ловил подо льдом?

– Нет. Я вообще не рыбак. Так, на общих основаниях. Больше охотник.

– Я тоже не рыбак. Однако могу тебе сказать: лёд на озёрах – до двух метров, повезёт – полтора. Рубить прорубь чем будешь?

Рубить было нечем. Ловить тоже.

– Ты лучше в избу иди, – проворчал дядя Миша, – я там «станок» припас... и мыло. Побрейся уже, а то зарос хуже лешего. Нечего опускаться.

– Откуда у тебя станок?

– Всегда вожу. Везде. В кармане вожу. Не люблю неряшливости. Иди, иди. Американцы – и те бритые сидят... сверкают своими мордами буржуйскими, лужёными.

В эту ночь Сашка спал совсем плохо. Он то проваливался в черноту, то в одно мгновение открывал глаза и в лунном полумраке видел единственное уцелевшее грязное окно, сотканное из осколков, а за ним – тускло мерцающую далёкую звезду. Сразу вспоминал: Халембой – «довольно рыбный». Вспоминал и не мог остановиться от закипающей в нём злости. Почему рыба? Её так же не достанешь, как и любую куропатку, как зайца, что там ещё?.. Оленя? Да, луну с неба!.. Дался ему этот Халембой!

Рядом сопел Макс. Сашка приподнялся на локте, за Максом ровно дышала Элизабет, дальше Фрэнк нервно подёргивал во сне ногой, и у другой стены, как большой буйвол, тихо спал дядя Миша. Сашка сел. Везучие! Спят, ни о чём не думают...

Он посмотрел в окно. Тишина в тундре стояла зловещая, с чёрного неба лился осязаемый, жуткий лунный свет, и всё огромное пространство за окном дышало безысходностью, пустотой и гибелью. Надежды осталось на четыре дня. Четыре дня по две галетины и по кружке воды, покрашенной под бульон. А потом не будет и этого. Ничего не будет. Они останутся один на один с голодом, страхом, холодом...

«Может, всё же в маршрут? По карте отсюда полторы сотни километров, это два дня пути. Дойти можно. А если заметёт пурга? Тучи – и те могут испортить дело, закроют солнце – и пропал ориентир. Сидеть ждать здесь – тоже дело дохлое».

Сашка подтянул к себе колени и уткнулся в них лицом. Что-то он совсем не годен к выживанию. А в городе жаловался, что без работы сидит... голодный... Голодный? Его начал разбирать смех. Тихий, какой-то внутренний смех подошедшей истерики.

Сашка поднял голову и посмотрел в окно – лицо мгновенно преобразилось, и смех пропал. Он даже про голод забыл и про их безнадёжное положение. Метрах в ста от дома, по озеру двигались, вытянувшись цепочкой, шесть гибких, тёмных волчьих фигур. Шли спокойно, уверенно, иногда останавливались, сбивались в кучу, водили мордами, видно, учуяв запах близкой гари от печки и всего прочего человеческого, потом вновь пригибали морды к земле и шли дальше. Судя по всему, волки не собирались подходить к дому: человек – всегда опасность. Луна проводила их до горизонта. Там волки исчезли. А может, всё же показалось? Он лёг на спину и закрыл глаза. Маршрут в сто пятьдесят километров отменялся.

Утром Сашка проснулся позже всех. Проснулся от невероятного шума голосов. Когда он наконец смог отличить дядю Мишу от Элизабет, то увидел довольно трагикомичную картину: дядя Миша возбуждённо ходил по избе, орал и махал руками, Элизабет стояла у дверей и явно закрывала собой выход, Макс сидел на нарах ближе всех и тупо разглядывал пустые пакеты из-под галет. Положение было более чем понятное, и всё же Сашка спросил:

– Что произошло?

Дядя Миша остановился, Элизабет замерла, с надеждой обернулась к Сашке, а Макс тихо, стыдливо и вдруг чисто по-русски сказал:
– Вот. Фрэнк галеты со... сожрал.

Последнее слово он, вероятно, услышал совсем недавно.

– Сожрал, конечно, морда нерусская! – тут же подхватил дядя Миша. – Ну-ка, девочка, свали отсюда! Я всё равно найду этого паскудника!

Элизабет не сдвинулась. И дядя Миша, похоже, потерял желание с ней бороться.

– Сашья! – позвала она. – Сашья, остановите его!

Дядя Миша подошёл к Элизабет вплотную, посмотрел сердито и прорычал:

– Уйди с дороги, маленькая американская коза.

– Не уй-ду! – ответила она по слогам.

– Вот, пацанка, – кивнул на неё дядя Миша Сашке, – ещё защищает этого сучонка!

В душе Сашке тоже захотелось найти этого «сучонка». Ситуация изменилась раньше, чем он ожидал. Надо было что-то предпринимать, пока обстановка не взорвалась окончательно. Сашка поднялся, достал из-под нар свой рюкзак, облегчённый на две пачки галет, нашарил в нём фляжку и одному дяде Мише сказал:

– Кружку дай.

Тот неторопливо отошёл от Элизабет, как бы давая ей передохнуть, подал ему кружку с редкими, застывшими по краям каплями бульона. Сашка открутил колпачок фляжки и налил ему в немытую посудину немного спирта. Протянул дяде Мише.

– Держи.

– Что это? – боясь обмануться в ожиданиях, спросил дядя Миша.

Галеты и «сучонок» Фрэнк были забыты.

– Успокоительное. Разбавлять не будешь?

Дядя Миша аккуратно выпил чистого спирта, крякнул и понюхал аппетитно свой изгиб локтя. Потом выдохнул огорчённо:

– Вот ведь, подсвинок заморский, сожрал закусь!

Сел рядом с Сашкой на нары, с независимым видом вынул пачку сигарет и закурил. Выражение лица стало умиротворённым.

– И вот что, – сказал ему тут же Сашка, – считай, дядя Миша, галет не было.

– Как не было? Ели же вчера...

– Показалось тебе, – вздохнул Сашка, – с голода это.

Дядя Миша выразительно посмотрел на Сашку, поднял брови и согласно кивнул.

– Где Фрэнк? – спросил Сашка у Элизабет.

– Он... убежал. На озеро, наверное.

Сашка неторопливо обулся и, выходя из дома, объявил:

– Далеко от зимовья не ходите. Ночью по озеру стая прошла... шесть голов.

И, оставив их, онемевших от ужаса, хлопнул дверью. На озере он Фрэнка не нашёл. Да и по всей округе, сколько хватало глаз, не было видно ничего, похожего на человека. Походив немного в близлежа-

щих кустах и не найдя и там никаких признаков пребывания Фрэнка, Сашка вернулся к жилищу. Возле дома стояла Элизабет и, похоже, ждала его. Когда Сашка подошёл, она негромко сказала, стараясь, чтобы не услышал никто:

– Вы, Сашья, свой нож при себе держите. Это оружие.

Он услышал, но вида не подал. На свитере Элизабет, чуть ниже плеча, под распахнувшейся полрой куртки в лучах солнца сверкнул какой-то значок. Сашка сделал шаг, не сводя глаз со значка, Элизабет тут же провела рукой по волосам у виска, упрятав их за ухо, вроде как они мешали, и автоматически опустила руки в карманы.

– Есть опасность какая-то? – спросил Сашка.

Она пожала плечами, опустив голову, потом очень задумчиво взглянула на Сашку и негромко проговорила, поглядывая на дверь:

– Ваш дядя Миша, когда узнал, сказал, что сейчас найдёт этот... тесак и зарежет Фрэнки. Разрежет его на куски и будет кушать его вечером вместо печенья. Он сильнее Фрэнки. Он, наверное, сильнее нас всех. Надо быть...

– Не бойся, – не очень ласково прервал её Сашка, – надо будет, дядя Миша первый подставится за вашего Фрэнки. Куда этот дурачок убежал?

– Я думаю, он скоро появится. Куда здесь бежать?

– Красивый у тебя значок, – кивнул Сашка так запросто, что американка даже глазами поморгала.

– Это? – непонятно чему удивилась она. – Это «кленовый лист» – символ Канады. Мне его подарил Поль, который сейчас у вас в больнице.

– Муж твоей сестры? – вспомнил Сашка.

– Да, перед нашим отъездом... Сказал, он принесёт мне удачу. Вот видите, пока живы все...

Элизабет вдруг молниеносно, аккуратно сжала свой свитер левой рукой, правой рукой вынула значок и протянула Сашке.

– Возьмите, Сашья. Возьмите себе, на удачу.

Сашка даже улыбнулся такой искренности, взял значок, посмотрел: обычный металлический жёлтый листик на длинной, острой ножке. У острия была заусеница. Всё очень напоминало конструкцию русского багра – остриё с крошечным крючком в обратную сторону.

– Это... – Элизабет заметила, как он пристально рассматривал заусеницу, – это чтоб держался крепче, правда, снимать тяжело, зато прочно. Возьмите...

– Не надо, – отдал он значок, – выберемся когда – другое дело. Сейчас не надо.

Фрэнк явился только под вечер. Взошёл на крыльцо как на эшафот, решительно открыл дверь, переступил мужественно порог, аккуратно, но твёрдо закрыл дверь, прошёл к нарам, снял обувь и, ни слова не сказав, завалился на боковую. Все промолчали. Дядя Миша кипятил воду для бульона, поддерживая нужный огонь в печи, Макс, сидя на лавке у стола, тихонько шевелил губами, читая вечернюю молитву, Элизабет сидела на месте Сашки на нарах у окна и бесцельно смотрела куда-то в тундру, сам Сашка столь же бесцельно катал по столу,

сидя на табуретке, небольшую ниточку, то скручивая её колечком, то разворачивая в жгутик.

Ужин в тот день состоял из одного бульона. Фрэнк к столу не встал. Когда его позвали, он даже не пошевелился. Тогда дядя Миша зачерпнул кружкой бульон из кастрюли, подошёл к Фрэнку, присел рядом и потормошил его за колено.

– Вставай, парень, – почти ласково сказал он, – так никому ничего не докажешь.

Фрэнк не пошевелился.

– Ты на меня не сердчай, – продолжил дядя Миша, – это я сгоряча... утром. На-ка вот, хлебни бульончика, полегчает.

– Я не хотел! – вскочил внезапно Фрэнк. – Я сам не знаю, как сделать... – И быстро продолжил на родном языке.

– Я имею большой желудок, – вернулся он к русскому языку, – я не могу без еда! Он болит...

Ткнул себе пальцем в живот и вновь заговорил на английском.

– Да шут с ними, с галетами, – дядя Миша протянул ему кружку, – похлебай бульончика, раз желудок больной.

Фрэнк остановился. Глаза блестели. Он взял кружку, и дядя Миша вернулся за стол.

Пришла ночь. Возшла луна. Сашка сидел на нарах возле окна, опять отрешённо смотрел сквозь грязное, битое стекло и опять ничего не мог придумать. А время с этого дня пошло быстрее. Жалкий, скудный паёк – и тот был потерян. Сашка пытался обдумать все мыслимые и немыслимые возможности добыть пропитание. Он даже прикидывал вероятность применения одежды в изготовлении орудий лова живности. К примеру, расплести шарф или шапочку Элизабет, надеть «петли»... Но очень быстро от этого пришлось отказаться: всё было связано из шерсти, всё было абсолютно непригодно и технически неприменимо. Даже обувь была без шнурков – сплошные «липучки» да «замки». Сашка злился на свою беспомощность, вновь и вновь перебирая в голове их совершенно нулевые шансы. Результат был один и тот же: всё тщетно и бесполезно.

Когда следующий день прошёл без еды... когда день следующий прошёл так же, а потом и ещё один – люди начали несколько беспокойно себя вести. Фрэнк стонал по ночам, днями сидел скрючившись, подавленный. Макс молчал, ежеминутно выходил на улицу и ходил как сторож вокруг избы. Элизабет старалась лишний раз не вставать с нар. Дядя Миша либо топил потихоньку печку, стараясь как можно экономнее расходовать дрова и куски разбросанного угля, либо просто сидел у той же печки, открыв дверцу, и смотрел на огонь. Сашка бродил в окрестностях, но чаще всего стоял на льду озера, покрытого снегом, и задумчиво смотрел вниз, под ноги. Бульон кончился, пили теплую воду талого снега.

На четвёртый день – без еды – Сашка заметил, что всех их немного пошатывает и глаза у всех смотрят как бы сквозь, не задерживаясь нигде, ни на ком, ни на чём. Он достал свой рюкзак в надежде, что, может, там хоть что-то завалалось, но нашёл только фляжку и аптечку. Сашка был не особенно силен в медицине, но лекарства, что брал

с собой, знал хорошо. Он тут же достал одну пачку и дал Фрэнку. Тот удивлённо повертел таблетки и спросил уже совсем неживым голосом:

– Что это, Сашья?

– Анестезин. Не вылечит, но боль уйдёт на время.

В этот же четвёртый день дядя Миша подошёл к Сашке, когда тот стоял на озере, и в сердцах сказал то ли ему, то ли себе:

– Не могу смотреть, хоть меня зарежьте, что ли... Подышаем потихоньку.

Сашка качнулся от этого, но ничего не сказал. Голова уже не переключалась с мысли: как достать еду? И времени прошло всего ничего. Голодали люди и намного больше. Что же они?.. Он вспоминал рассказы своей матери о голоде в военное время. Тогда есть было просто нечего. А сейчас? Сейчас ждать нечего. И тут Сашку встряхнуло от неожиданно пришедшей мысли – безысходность... Безысходность. Сознание убивает быстрее. Обычный человеческий страх и представление о том, что с ним скоро может случиться, торопили в голове каждого исход этого события. И принудительная голодовка зачастую вызывает ещё и самоотравление организма – жди тут чего угодно. В этот же день Элизабет, до этого мирно спавшая, вдруг вскочила с нар и бросилась без обуви на улицу. Дядя Миша, выкуривавший в это время свою «ночную» сигарету, схватил её в охапку, быстро заговорил, пытаясь привести в чувство:

– Подожди, подожди! Сдурела, девка!.. Сашка..

Элизабет сказала что-то грубое на своём языке, потом вроде как увидела, что это дядя Миша перед ней, и уже по-русски выпалила:

– Да пустите же вы!.. Там же!.. Там..

Все повскакивали с нар. Макс и Фрэнк схватили Элизабет за руки, о чём-то заговорили с ней, Сашка бросился к своему рюкзаку, опять достал аптечку, нашёл там что-то, открыл, насыпал немного таблеток в ладонь, тут же очень жёстко схватил Элизабет за плечо, притянул к себе и, приложив ладонь с лекарством к её губам, почти крикнул:

– Ешь быстро! Быстро, сказал!

Элизабет, словно по приказу, проглотила таблетки даже без воды, Сашка легонько хлопнул её промеж лопаток.

– Пролезло?

Развернул к себе лицом. Она кивнула, сразу приходя в себя, и спросила:

– Что это? Валиум?

– Валиум, – ответил твердо он. – Подожди полчаса, не беги и не дёргайся. Слышишь? Сядь. Сейчас подействует.

Когда все успокоились и снова улеглись, дядя Миша приблизился к сидящему с опущенной головой за столом Сашке и поинтересовался с лёгкой тревогой в голосе:

– Ты что ей дал?

– А? – вскинул голову тот. – Ах, да... транквилизатор, тазепам, что ли..

– Это что?

– Это такое успокоительное... Давит отрицательные эмоции.

Дядя Миша ткнул пальцем с седыми волосками ему в лоб и очень уверенно, словно выход из положения нашёл, произнёс:

– У тебя хватит ума нас спасти.

Сашка опешил, а потом, как полный идиот, спросил:

– А как?

Дядя Миша посмотрел ему в глаза:

– Найдёшь.

Искал Сашка всю ночь. Искал – не нашёл. Выйдя из дома утром, тоже не нашёл. Негде было искать. Всё было исхожено и осмотрено десятки раз. В голове билась голова дяди Миши... билась друг о друга, больше никаких сдвигов в положительную сторону. Он шёл по снегу непонятно куда, непонятно зачем, да и вообще не зная, в какую сторону. Впрочем, ему сейчас можно было идти в любую сторону. Он очнулся посреди белоснежной бесконечной пустыни, оглянувшись вокруг, нашёл на снегу маленькую точку – оставленную избушку, сорвал с себя мохнатую шапку, упал на колени, смотрел в это синее зимнее небо с неизменно сверкающим солнцем, смотрел и вдруг закричал вверх... вверх на самое небо:

– Господи! Ну, помоги же Ты нам! Ну, я не знаю, что мне говорить!.. Ну, дай же нам шанс!.. Один шанс!.. Ну, ёлки...

С неба ничего не обрушилось. Сашка поднялся с колен и пошёл назад в избу. Придя, он сел на табуретку за стол и уткнулся лицом в сложенные руки. Внутри была такая опустошённость, что не хотелось уже ничего... совсем... даже есть...

– Я знаю, вы меня осуждаете, – раздалось сверху.

Сашка вскинул голову – перед ним стоял Фрэнк.

– Да нет, дорогой мой американец, – ответил он, – не осуждаю я тебя. Просто устал.

– Вы, Сашья – загадочная русская душа?..

– Если б это ещё помогало, – вздохнул Сашка.

– Скажите, Сашья, а я могу чем-нибудь помочь?

– А чем? – Сашка даже не сумел улыбнуться на его такое простодушное предложение.

Глаза его скользнули по костюму Фрэнка – и тут случилось то, отчего у Сашки даже кровь ударила в голову: он увидел вылезший из ткани у самого лацкана маленький кусочек лески. Как он мог забыть?.. Фрэнк – единственный, кто в костюме. Бортовка пиджака!.. Зачастую она пронизана леской.

– Это, – привстал Сашка, – это... что это у тебя?

И потянулся к Фрэнку через стол. Фрэнк немного опешил, посмотрел на свой пиджак, увидел леску, выдернул её и безразлично сказал:

– А-а, это постоянно выходит. Наверное, плохо шит.

– Матерь Божья! – Сашка достал из-за пояса свой большой тесак и ещё больше перегнулся через стол к Фрэнку. – Как это... хорошо, что плохо шит!..

Тут вдруг мгновенно, очень резко и властно крикнул:

– Снимай пиджак!

И схватил Фрэнка за рукав одной рукой, другая так и сжимала рукоять ножа.

Все в избе замерли и, таясь от страха, ждали развязки. Фрэнк зашептал беззвучно губами, как заведённая кукла, стянул с себя пиджак и отдал Сашке. Тот плюхнулся на лавку, мастерски полоснул лезвием по пиджаку. «Вот почему Халембой, – пронеслось у него в голове, – довольно рыбный... довольно... Значок у Элизабет... если согнуть... это же крючок, блесна почти... Дальше, дальше... полтора-два метра льда... Чем, чем? Ножом. Конечно, ножом... воронку конусом вниз... можно пробить, можно...»

Он обвёл всех стеклянными глазами и ровно доложил:

– Кажется, живём, только не надо суетиться. Лизка! – обернулся он к Элизабет. – Где твой «кленовый лист»?

Обескураженная «Лизка» тут же отцепила значок, вырвав из свитера изрядный клоч, поднялась и отдала его Сашке.

– Так, дорогая моя, – пофамильярничал Сашка, – у тебя тонкие пальчики?

Голос у него немного хрипел от волнения:

– Нам нужны очень тонкие пальчики... Нам надо вязать очень тонкие узелки... Сможешь?

– Похоже, смогу, – неуверенно ответила она.

– Дядь Миш, ножик свой не потерял? Надо бортовку резать... леску вытаскивать.

– Подожди, – веско оборвал его тот, – ты кого ловить собрался?

– Не знаю, – не испугался Сашка. – Щука какая-нибудь должна же быть?

– Щука? – дядя Миша обвёл глазами присутствующих. – Она вмиг твою леску перекусит, а «крючок», я так понял, у нас один?

Макс молча вынул из кармана круглые часы на цепочке и положил на стол. Рядом с часами змейкой уложилась тонкая цепочка.

– Выдержит? – спросил дядя Миша.

– Это, – Макс подумал, подбирая слова, – это сталь... цельная... литая...

Цепочку оторвали с корнем.

– Если вы не против меня, – страшно картавя, сказал Макс, – я бы мог помочь, я... как это... профессиональный рыбак. Спортсмен. Правда, подо льдом никогда не ловил. Но-о... снасти... сделать могу.

– Тебе и карты в руки, – сказал ему Сашка, схватил шапку и бросился вон из дома.

– Ты-то куда? – крикнул вдогонку дядя Миша.

– Прорубь рубить! – донеслось уже снаружи.

Рубил прорубь Сашка до ночи. Рубил воронкой конусом вниз. Лёд бил в лицо. Он разлетался мелкими кусками во все стороны, резал кожу, впивался в глаза. Было больно. Но это было только больно – и больше ничего. При каждом ударе Сашка жмурился интуитивно, отворачивая лицо, что не помогало. И опять бил, бил и бил с каким-то радостным остервенением. Лёд дробился быстро, не успев он заметить, как нож уже по рукоять скрывался в воронке. Потом он рубил лёд лежа на животе, опустившись вниз образовавшейся воронки по грудь. Он не боялся, что устанет или не дойдёт до воды. Он боялся, что по неопытности выбрал мелкое место и здесь озеро про-

мёрзло до дна. Он боялся, что нож лопнет поперёк лезвия – и тогда уже совсем ничего не сделаешь. Он боялся, что люди, только что поверившие в него, пострадают от его неумелости и неискущённости. Несколько раз к нему приходили. Все по очереди. Просили отдохнуть. Отдохнуть и хотелось, и не хотелось. Есть тоже хотелось. Также всем. Сашка, отказываясь, только говорил: «Леску вяжите».

Они вязали леску до ночи. Дядя Миша, вытаскивая кусочки из пиджака, помогал себе парой ругательств под нос – так было легче и быстрее. Макс изготовил крючок из «кленового листа», подогнув его по бокам, пытаясь хоть немного подделать под блесну, соединил с цепочкой, всё проверил не один раз, после чего проконтролировал каждый узелок, завязанный Элизабет. Дядя Миша нашёл в стене две крупные картечины, выковырял их, и Макс приспособил их как грузило у «крючка». Потом дядя Миша осмотрел всю конструкцию, пока без лески, цокнул языком и пробормотал неуверенно:

– Или мы... или рыба здесь глупая...

Чем глубже становилась воронка, тем больше сужалась её горловина, тем рубить было тяжелее. Когда стемнело, возле воронки появился Макс, посмотрел на Сашку, предложил заменить его, Сашка отказался, тогда Макс очень уверенно сказал:

– Я буду доставать лёд, а вы, Сашья, колите его...

– Это правильно, – согласился тот, кураж первых часов прошёл, вместо него пришла обычная усталость, – лезь вниз.

Воронка «пошла» много быстрее. Можно сказать, она углублялась на глазах. В темноте работать было не очень радостно и уютно, то Сашка, то Макс, регулярно осматривались вокруг: первый вспоминал, кого видел здесь недавно из окна, второй вспоминал, что ему недавно говорил Сашка. На небе уже сияла луна, разгорались во всю силу созвездия, снег вновь мерцал ночными огоньками на своих кристалликах, тундра покрывалась чернотой ночного неба, и как спасительный маяк в этом снежном океане горело красноватыми отблесками грязное окошко рыбацкой избушки.

– Вы живёте в страшной стране, Сашья, – выглядывал Макс из ледяной дыры и печально смотрел на Сашку.

– Это почему? – нисколько не обижаясь, спрашивал тот, едва не засыпая на ходу.

– Я вчера, – Макс обернулся, как профессиональный подпольщик из своего «укрытия», – я вчера видел три солнца... и столбы красные... Вот, вот и вот...

И показал руками что-то очень большое, толстое и круглое.

– И только?

– Вам этого мало? – спросил Макс испуганно.

– Нам всегда мало, Макс, – проговорил назидательно Сашка, – такой уж мы народ.

– И вы не боитесь?

– Нет. Выгребай быстрее. Рыбки поешь – и бояться перестанешь.

Макс заработал руками, выбрасывая лёд наружу, и осторожно спросил:

– А вы мне дадите тоже таблеток... как Элизабет. Я тоже... боюсь. Этих...

– Глюки видишь? – спросил Сашка.

– Нет. Я стрессов боюсь. Нервы.

– Ты мужик. Переживёшь. Выгребай и пойдём. Отдохнуть надо. Завтра закончим.

Сашка проговорил всё так, словно по слогам прочитал по бумаге кем-то написанное. Макс выгреб остатки колотого льда, Сашка помог ему выбраться из воронки, углублённой уже более чем на метр, и оба тяжело и неторопливо побрели к дымящему трубой тёплому дому. Горящие звёзды померцали им на прощание своим далёким светом, луна, забравшись в самый зенит, осветила дорогу – похоже, там, «наверху», всё было в порядке.

А в избе под светом огня из открытой печки крутили узелки. Бортовка отдавала леску с трудом. Небольшие кусочки, сантиметров по двадцать, выходили из неё неохотно. Элизабет вязала узелки, предвительно опуская пальчики в тёплую воду. Так леска крутилась легче.

Уснули все очень поздно. Уснули, когда «снасти» рыболовные были готовы к применению.

Среди ночи Сашка проснулся. До рассвета было ещё далеко. Он посмотрел в окно, потом встал и ушёл на озеро. Он и сам не знал, зачем это делает. Себе доказать? Им доказать? Посмотрел во тьме на спящих, взял нож и ушёл. Ничего, никому он доказывать не собирался, просто не хотел проснуться и увидеть лица людей в этом проклятом ожидании. Хорошо ждать сытым.

Придя на место, осмотрелся, вновь вспомнил стаю в шесть голов, опустился в ледяную яму, и... удар за ударом – и лёд наверх... С каждым сантиметром вниз, с каждым сантиметром, приближавшим их к воде, бить было всё сложнее и сложнее, работать, выбирая лёд из-под ног, – едва ли удобнее.

Рано утром, когда на кромке его ямы показались первые лучи солнца, которые Сашка вначале и не заметил, он увидел воду. Увидел её подо льдом – тёмную, долгожданную, благословенную воду, которая своим появлением ещё ничего не обещала. Первой мыслью был вопрос: вода есть, а где рыба?.. Сашка ругнулся (как бы не свихнуться преждевременно!). Он продолжал бить ножом до тех пор, пока вдруг не подумал, что он может и провалиться в свою прорубь... если осторожным не будет. Вода ведь рядом, под ним. Вот она, под ногой сразу, чёрная какая-то...

Он провалился через секунды, с грохотом и треском льда, коротким как выстрел, страшным и тяжёлым... Он провалился вместе со всей своей ледяной площадкой, на которой стоял... Но горловина была узкая, он ушёл по пояс в воду, быстро опёрся руками о стены воронки и, помогая себе ножом, выбрался наружу. Вода пошла наверх. Тёмная, чёрная, беспросветная, кружащаяся по центру проруби, сразу разглаживала стены воронки, как бы расправляя острые ледяные куски, она шла и шла, как будто вырвавшись из ледяного плена, поверхность затихала, и, когда луч солнца, скользящий по снегу, коснулся её, вода остановилась...

Сашка не мог двинуться, он стоял и смотрел на воду как зачарованный. Очнулся от холода... очнулся и, мокрый наполовину, побежал к избе. Штаны превратились на морозе в панцирь, и ноги передвигались как ходули. Ворвался в избу он очень громко. Началось с того, что запнулся о порог, упал на пол, попробовал встать, да не очень вышло. Проснулись все остальные... Дядя Миша первым всё понял и крикнул:

– Снимай штаны, сучонок паршивый!

Сашку раздели насильно. Было и смешно, и горько – штаны стояли на полу колом. Фрэнк начал тоже раздеваться, никто ничего не понял, потом увидели, что он в тёплых кальсонах, которые тут же стащил и отдал Сашке... Сашка не увидел этого жеста и с некоторым пафосом произнёс:

– Я пробил воронку...

Тут же получил подзатыльник от дяди Миши и... отключился. Он отключился не от холода – просто устал. Он выдохся и просто отключился. Он – обычный человек, без спецподготовки.

Очнулся Сашка в кальсонах Фрэнка и объятиях Элизабет. Ещё плохо соображая, он принял её за Ксюшу, а нары – за кровать родную. Голос её прозвучал вовремя:

– Согрелся?

Сашка приподнялся, автоматически глянул в окно – там была ночь, после оценил обстановку в комнате. Похоже, за прошедшее время изменилось что-то очень важное в их жизни. Вместо привычного напряжения в отношениях, неуловимого страха в каждом, вместо охватившего всех безразличия ко всему и депрессии, в доме царили полное согласие, теплота и безмятежность. Дядя Миша покуривал сигарету возле печки, разглядывая пляшущие языки пламени, Макс сидел за столом и старался подточить их «крючок» о небольшой камень, неизвестно как появившийся в избе Фрэнк неторопливо и осторожно проверял узелки на леске.

– Тебя трясло всего, – сказала Элизабет как бы вдогонку.

– Да, ладно, ерунда, – попробовал отшутиться Сашка. – Сколько времени?

– Уже вечер, – ответила Элизабет из-за его спины, – ты спал десять часов... даже больше.

– Случилось что?

– Макс поймал десять щук. Мы все объелись. Ты будешь? – объяснила она и зачем-то взяла его за руку. – Уже вечер.

Сашка обернулся, посмотрел на американку, взгляд Элизабет оказался ему откровенно нежным, потому он сказал тут же немного пренебрежительно:

– В сортир забегаетесь.

– Это ничего, – ответила она, очаровательно улыбаясь, – принести тебе?

– Что принести? – в самом деле не понял он.

– Рыбы, – ответила она терпеливо, – или бульон будешь?

– Надо прорубь проверить!

Сашка хотел встать с нар, но внезапно Элизабет проявила неженскую твёрдость и остановила его, ухватив за локоть.

Сашка плюхнулся на нары, едва не рассмеявшись от своего неловкого положения. Элизабет мягко и нежно попросила:

– Не дури. Всё уже проверили. Макс и Фрэнк только вернулись. Полежи спокойно. Ты пять часов тряся, как мышонок... и бредил... у тебя наверняка температура высокая... Вылечись вначале, потом пойдёшь на прорубь. Слышишь меня?

Сашка, что называется, диву дался: никто из присутствующих даже не пошевелился, не повернулся и вообще никак не прореагировал на её слова.

...Опять он проснулся, и опять в мире что-то изменилось. Спать ему просто категорически нельзя. Один лишь дядя Миша коротко взглянул на него и сердечно похвалил:

– Живой? Вот и молодец! А ночью ши-ибко зубами-то колотил!

Затянулся вкусно, выпустил дым и уставился на огонь.

Сашку бил озноб, он щёлкал зубами, как при переохлаждении. Он передёрнулся, и в голове тут же застонало так, что Сашка едва не завыл от боли.

– Сашья, – негромко произнёс Макс назидательно, – слушайте Элизабет, у нас всё под контролем.

– Смотри-ка ты, – проворчал Сашка, – атаманшу себе нашли! – Посмотрел на Элизабет и почти попросил: – Отпусти, пожалуйста, локоть, я рюкзак достану, у меня там лекарство. Я не буду вставать.

Локоть его отпустили, но взгляда не отвели. Сашка достал рюкзак, нашёл в аптечке лекарство и проглотил две таблетки просто так, без воды.

– Анальгетик? – спросила Элизабет.

– Анальгетик, – ответил Сашка нервно. – Что ты на меня так смотришь?

Она улыбнулась ему ещё раз, очень мило, по-женски так, что Сашке показалось, он начинает краснеть, потом взяла его руку в свою ладонь, накрыла сверху другой и очень просто, без тени смущения, не глядя ни на Макса, ни на Фрэнка и уж тем более на дядю Мишу, позвала:

– Сашья, поехали со мной... в Америку?..

Здесь Сашке стало совсем плохо. Плохо, потому что он всё понял, плохо потому, что он не собирался в Америку и вообще никуда не собирался, потому что там, в далёком Северске осталась Ксюша. Он суетливо оглянулся, выдав себя с головой, не зная, где остановить свой взгляд, от этого занервничал ещё больше и, наконец не выдержав, вскочил с места и чуть не закричал:

– Да... да... на кой мне хрен твоя Америка? На кой мне хрен твоя Америка? Кто я там, в твоей Америке?..

– В Америке живёт много русских, – тихо, вразумительно сказала она, – будешь работать со мной в группе...

– Нет у вас русских!.. Ясно? – Сашка склонился к ней. – Русские есть только в России!.. И... в этом... бывшем Союзе ещё... А это... это просто эмигранты. Ясно?

– Успокойся, – попросила она.

Сашка мгновенно умолк. Посидел чуть и сказал:

– Прости, не хотел.

– Ничего, – опустила она глаза, – ничего. Знаешь, Сашья, я в первый раз позавидовала...

– Мне? – не поверил он.

– Девушке твоей. – Она подняла на него глаза.

Сашка тяжело посмотрел на американку. Она так спокойно встретила его взгляд, что даже не моргнула, и в лице не дрогнул ни единый мускул.

– А с чего ты взяла, что у меня есть девушка? – простовато и грубовато спросил он.

– Это не я взяла. Смотришь так.

– Как?

– Отчаянно-холодно.

– Трясёт меня... вот и смотрю так, – пробормотал он, потянул на себя всё тот же разрезанный тулуп, укрылся им и улёгся на своё место, независимо и очень одиноко.

Элизабет положила ему ладонь на лоб, подержала немного и уверенным голосом объявила всем:

– Заболел!

В комнате, на удивление, сразу все зашевелились. Первым подошёл дядя Миша, держа руки в карманах, посмотрел сверху на Сашку, кивнул на него и, словно тот был без сознания и не слышал ничего, спросил у Элизабет:

– Температура?

Сашка на это зашёлся кашлем, сотрясаясь всем телом. Элизабет положила ему руку на плечо под тулупом, как бы удерживая от этих приступов, и попросила подошедших Макса и Фрэнка достать рюкзак с лекарством. Макс полез вниз под нары, а Сашка на этот производ вдруг воспротивился.

– Я уже выпил лекарство, – сказал он, справившись с кашлем, – больше не буду.

– А тебя никто не будет спрашивать, Сашья, – сказала ему Элизабет.

Сашка вылез из-под своего тулупа, глянул на американку, опустил глаза на копошившегося в рюкзаке Макса и спросил:

– Насильно будете поить?

– Если надо будет, – ответила она твёрдо.

– Да не надо его травить этими таблетками, – дядя Миша посмотрел на Сашку как на кролика подопытного, – давай-ка я его, Лизка, спиртом разотру... спину... первое русское лекарство.

Элизабет задумалась на секунду и согласно кивнула. Дядя Миша достал флажку, отвинтил колпачок, понюхал и пожалел о своём предложении. Поднёс к носу горлышко, втянул воздух и пробормотал недовольно:

– Переводим добро. Ну, раз надо... – И тут же остальным: – Брысь все отсюда!

Тёр Сашке спину дядя Миша на совесть. Так тёр, что непонятно было, хотел ли он спирт в Сашку втереть, или Сашку в нары, или просто на сухую пытался растереть того, чтобы сохранить побольше «добра»? Тёр и сам с собой говорил:

– Переводим добро... И спина у тебя вон какая здоровая... хоть всю флягу вылей – не хватит.

– Ты себе налей «полста», – как молния для дяди Миши прорезался голос Сашки.

– А? – даже встрепенулся он.

– Символично. За моё выздоровление, – приободрил тот.

Дядя Миша привычно вскинул брови, сдвинул взгляд на то место, где должна была виднеться сигарета, и нехотя, раздумывая, едва-едва согласился:

– Нет... если только за выздоровление... Может, и ты?..

– После анальгетика алкоголь пить нельзя, – тут же подлетела к ним Элизабет, села между Сашкой и дядей Мишей. – Вы сами пейте, а Сашью оставьте в покое. Ему надо отдыхать. – И подала Сашке его свитер.

Дядя Миша задумчиво и как-то бестолково опустил глаза на бесценное своё сокровище во фляжке и осуждающе выложил:

– Вот ведь, Сашка, какой ты всё же? На двести вёрст вокруг ни единой живой души, ты Бог знает где... а с бабой!..

За окном едва приметным пятнышком темнела на озере прорубь. Очень осторожно тундру охватывала ночь. Ещё одна ночь среди миллионов других. Ничем не примечательная, похожая на все остальные. Столь же тёмная, холодная и снежная. Столь же томительная и гнетущая. Та же луна взошла на чёрный небосвод, среди тех же звёзд, и та же луна заглянула в окно одинокой рыбацкой избушки, пролив свой сумеречный свет на лица спящих её обитателей.

У них нынешний вечер не был похож на все остальные: все они спали сытым сном. Сашка лежал на своём привычном месте – возле фанерной обивки стены под окном, рядом так и осталась Элизабет, и уже за ней находились Макс с Фрэнком да дядя Миша. Все мирно и ровно сопели во сне.

Сашка лежал на спине, закрыв глаза, но уснуть не мог никак. Расстирание дяди Миши уже поослабло, и его несколько знобило. Старый тулуп не спасал, брошенный сверху, он едва доходил ему до груди. Руки Сашка пытался спрятать в подмышках, но это помогало мало, ладони стыли, словно находились в ледяной воде.

Элизабет лежала лицом к Сашке, под своей пуховой курткой, иногда открывала глаза, смотрела на его страдания... Но она не спешила помочь облегчить их, что-то останавливало её. Может быть, недавний взрыв его негодования?.. А может, старательно поддерживаемое им состояние своей независимости?.. Она старалась об этом не задумываться. По меньшей мере, сейчас. Сейчас самое главное – вылечить Сашку. Болеть им, а ему особенно, просто нельзя. В таких условиях это опасно для всех. Только вот как его лечить?.. Сопrotивляется на каждом шагу...

Сашка кашлянул в подтверждение мысли Элизабет, потом ещё, более надрывно и громко, сел на нары и зашёлся в приступе, зажимая рот рукой.

– Лекарство у меня, Сашья, – произнесла она сразу, как он остановился, – будешь пить?

Сашка кивнул, не поворачиваясь, глянул в окно: луна, снег, тундра без границ. Элизабет достала из кармана своей куртки Сашкины таблетки, протянула ему две штуки, сбросила с себя куртку и легко, бесшумно соскочила на пол. Принесла ему кружку с водой. Сашка посмотрел на эту заботу со свойственным ему смущением, сказал:

– Я бы и так проглотил...

Но кружку взял и запил таблетки. Элизабет присела рядом на колено, осторожно положила Сашке на лоб свою ладонь.

– Горячий, – тихо сказала она.

– Лоб горячий, – проворчал он на самого себя, – руки холодные... как отмёрзли.

И опять спрятал ладони в подмышках, скрестив руки на груди. Элизабет унесла обратно воду, вернулась, села рядом с Сашкой, взяла руку его и зажала в своих ладонях.

– Это лёд, Сашья. Щука из озера и то была теплее.

– Выживу, – как можно более безразлично сказал на это он.

– Конечно, выживешь, – согласилась Элизабет, – лишний раз страдать совсем ни к чему.

– Я не страдаю.

Элизабет это заметила и снисходительно, но проявляя всё ту же твёрдость, пояснила:

– Чтоб не страдать, надо в первую очередь относиться ко всему здраво... а не с позиции «большого героя». – Глянула в окно и кивнула Сашке: – Смотри, луны только половина осталась. Скоро луны не будет. Тогда вообще ничего не видно?

Сашка не стал поворачиваться и разглядывать половину луны, а в тон рассказал:

– Зимой в тундре полной темноты не бывает. От снега даже свет звёзд отражается. – И тут же, как бы уличив её в неправде: – Ты же была на Аляске?

– Я была на Аляске, – подтвердила она, – только в безлунную ночь не бродила по тундре. Согреть тебе бульон?.. Или холодной рыбы?

– Не надо ничего. Я правда не хочу.

– Ты не ел несколько дней... От анальгетика может быть плохо... желудок разболится.

– Ладно, – громче положенного вздохнул Сашка, – в кружке бульон принеси, я выпью.

– Счастье какое, – пробормотала Элизабет, соскочила с нар и бесшумно пронеслась до стола, где была кастрюля и кружки. Там зачерпнула бульона и принесла Сашке: – Удержишь? Или с рук кормить?

– Где ж ты так хорошо русский язык выучила? – не сводя с неё глаз, взял он кружку. – Слово и не из Америки совсем.. «шпиёнка».

– Сейчас без разницы, – ответила она, – все братья и друзья, когда беда одна и цель одна. Пей.

– Сколько тебе лет, Лиз? – в несколько глотков он выпил всю кружку.

– Не скажу, – мило улыбнулась она, забрала посудину, унесла её обратно и, вернувшись на место, взяла вновь его руку в свои ладони: – Так тепло?

- Тепло, – соврал он.
- Как её звать?
- К-кого звать? – даже опешил Сашка.
- Девушку твою, – терпеливо подсказала Элизабет, взяла в ладони и вторую его руку, – у неё есть имя?
- Да она не моя девушка. Мы друзья...
- Я понимаю, – согласилась она чуть ли не с состраданием, – так бывает. Ты не расстраивайся, она будет твоей девушкой.
- А я и не расстраиваюсь! – хорохорился Сашка. – У нас дрова с углём заканчиваются... Вот от чего расстраиваться надо. А то...
- Когда закончатся дрова, чем будем топить печку? – довольно вяло поинтересовалась Элизабет.
- Придумаем. Кустов много...
- Сашья, – Элизабет слегка сжала его руку, – как думаешь, нас найдут?
- Он кивнул едва заметно куда-то в сторону и сказал:
- Думаю, найдут.
- Долго ждать?
- Не знаю. Будем надеяться, что недолго.
- Может, надо уже что-то предпринимать?
- Надо.
- Сашка чуть помолчал.
- Рыбу надо заготавливать... И дрова...
- Заготавливать?..
- Начнёт мести пурга, – посмотрел Сашка на неё, – на два метра от избушки не выйдешь. А прорубь так просто не найдёшь.
- А почему на два метра?
- Дальше уйдёшь – заблудишься. Пурга – это молоко. Руку протяни – не видно. Ветер свалит, и будешь лежать в снегу. Или бултыхаться как шарик по насту... куда покатит.
- А если крикнуть?
- В пургу?.. – Он даже заулыбался. – Кричи!
- Ты знаешь, Сашья, – очень уверенно произнесла Элизабет, – тебе до пурги надо обязательно поправиться. Понимаешь меня?
- Понимаешь, – отвернулся он, увидев её тот же нежный и прямой взгляд, – я постараюсь.
- Ты не «постараюсь», а поправляйся... И чтоб ел... Не будешь есть – будем тебя кормить насильно... и лечить насильно.
- Успехов, – попробовал пошутить он.
- Что?
- Это пожелание удачи.
- Ты ложись... и болей. Разговариваешь много... – И отпустила его ладони.

Болезнь Сашка не любил и не умел. Болел в своей жизни он редко, а потому состояние температурной слабости было для него крайне непривычным и тягостным. Ощущать себя таковым в их драматичном положении было тяжелее вдвойне. А в присутствии даже одной женщины так вообще хотелось выглядеть только мужественным, железным и героическим до дерзости. А она тебе: «ложись... и болей».

Сашка лёг на спину, подложив себе под голову руку. Иногда бывает много полезнее быть покладистым и принять ситуацию, какая она есть на самом деле. Хотят лечить – пусть лечат. Ухаживают, кормят с рук... Что там ещё положено?

– Ты наш талисман, Сашья... – сказала внезапно Элизабет, – на удачу.

И посмотрела сверху на него тем же нежным и откровенным взглядом. Сашка не растерялся, ему не стало плохо, он перевёл свой «каменный» взор с потолка на Элизабет, как бы проверяя искренность сказанного, кивнул едва заметно и проговорил медленно и вдумчиво:

– Тогда вам обязательно повезёт!

Она на это согласно улыбнулась одними губами и легла рядом с Сашкой на спину, так же, как и он, подложив себе руку под голову. Из окошка на них лился ровный лунный свет, выхватывая их лица из темноты комнатухи. Печка к тому времени перестала трещать и понемногу остывала. Тишина, охватившая рыбацкую хижину изнутри и снаружи, говорила о наступившей глубокой ночи. Можно было услышать тихое дыхание спящих американцев и дяди Миши. В такой тишине в деревенских избах слышен даже скрип половиц под лапами кошки.

– Скажи, Сашья... – услышал он шёпот Элизабет и немного скосил на неё глаза...

Она замолчала, может, обдумывая... Сашка повернулся к ней лицом.

– Скажи, Сашья, – так же тихо повторила она, – а если бы у тебя не было той женщины... я могла бы тебе понравиться?

«Вот же бабы! Неизвестно, что с нами завтра... даже сегодня... а у них всё одно на уме».

– Что молчишь? Думаешь?

– Что тут думать... – ответил он, не зная, что и сказать, отвернулся к окну и, на всякий случай, сказал: – Ты далеко живёшь.

– Мне предлагали работать в корпункте... в Москве, – очень ровно ответила на это она.

Вот те на! Сказать «нет» он совсем не хотел, сказать «да» не мог. Получалось как-то не совсем честно. А с другой стороны – перед кем нечестно? Он вроде никому ничем не обязан... Ксюша? А что Ксюша? Ксюша дом сторожит, и всё. Других обязательств у них друг перед другом нет. И всё же...

– Почему ты эмигрантов не считаешь русскими? – пришла ему на выручку Элизабет.

– Мигрировать не надо.

– Каждый человек вправе выбирать себе место проживания на земле. Это записано в «Декларации прав».

– Выбрал себе место, – недобрым голосом ответил Сашка, – и называйся тем местом.

– Надо быть добрее, Сашья.

– Ага, – злобно промычал он.

Элизабет повернулась на бок, к Сашке лицом.

– Многие американцы живут в Европе, Австралии, Азии. И остаются гражданами Соединённых Штатов. И мы их считаем американцами и от них не отказываемся.

– МЫ, – выделил Сашка, – тоже не отказываемся. Это Я отказываюсь. А вам – флаг в руки!

Элизабет взяла его ладонь в свои руки и, поднеся к лицу, немножко подышала. Сашка едва не сомлел. Но с собой справился и принял это как лекарство.

– У нас в Штатах кто имеет свою землю... держит перед домом флашток с национальным флагом Америки. Утром его поднимают, иногда гимн поют. И это считается нормальным. У вас...

– У нас мало кто землю имеет...

– ...у вас почему-то считается смешным лишний раз показать своё отношение к Родине.

– Мы своё отношение показываем не перед флаштком.

Она лишь хмыкнула.

– Сашья, – тихо позвала Элизабет, чуть-чуть потянув на себя Сашкину руку, – что бы ты хотел сейчас больше всего?

– Водки, хлеба и мяса! – отрезал он сразу.

– А я...

– Ты – кофе и горячую ванну.

– Точно. Ты – цивилизованный, – несколько удивлённо и игриво произнесла она.

– Смотрю американские фильмы.

– Вот как?.. О чём сейчас думаешь?

– О бейсболе, конечно, – продолжил он в том же духе.

– Похоже, ты ещё и комиксы читаешь, – немного разочарованно донеслось от Элизабет.

Сашка промолчал, убрал свою руку из её ладоней, перевернулся на бок лицом к ней, ни слова не говоря, положил к себе на плечо её голову. Элизабет не двинулась. Устроив её куртку наподобие подушки, он укрыл обоих тулупом, причём Элизабет пришлось притянуть столь близко, что она уткнулась ему в шею своим чудным носиком. Элизабет не проронила ни звука. Свободную руку Сашка положил ей на талию и коротко сказал, как бросил:

– Спи.

Элизабет подышала ему безмолвно в шею и чуть погодя тихонько спросила:

– Полетишь со мной ещё в Арктику?

– Вначале, может, назад вернёмся?

– Ты же обещал? – вспомнила она. – Значит, вернёмся!

– Тогда и поговорим.

– Ты сейчас скажи. Представь, что уже вернулись.

– Хорошо, – промычал Сашка.

– Так не пойдёт! – И толкнула его легонько в грудь. – Говори...

– Что я ещё должен говорить?.. Я сплю уже.

– Говори, что полетишь со мной в Арктику. Так и говори: «Полечу».

– Полечу, – сразу сказал в темноту комнаты, а сам подумал: «Вот же бабы, неизвестно, что с нами завтра...»

Луна обошла одинокий дом на берегу большого и довольно рыбного озера и спряталась на небосводе со стороны глухой, зашитой досками стены. Лунный рисунок от окна в избушке вначале скользил по лицам спящих людей, постепенно вытягиваясь в углах и сжимаясь с боков, после превратился в узкую полоску, пока совсем не исчез в черноте натопленной и уже обжитой комнаты.

Элизабет уснула. Дыхание её стало ровным и спокойным. Она спала тихо, безмятежно, как спят наигравшиеся дети. Сашка долго в сумраке смотрел на её лицо, боясь пошевелиться и нарушить её сон. Он не заметил и не почувствовал, как уснул сам. Руки ослабли, Элизабет сразу чуть ли не выкатилась из его объятий, открыла глаза, быстро села на колени, посмотрела в окно, на Сашку, тут же свернулась калачиком, положила голову ему на плечо и быстро уснула.

Утром следующего дня Сашка переоделся в свою высохшую одежду, проглотил на всякий случай пару таблеток анальгетика и вышел из дома на воздух. В это утро Сашка проснулся последним, все остальные к этому времени занимались каждый своим делом.

Макс с Фрэнком находились у проруби. Взломав молодой лёд, схватившийся за ночь, они вылавливали его небольшой доской и вынимали на снег, чтоб не мешал рыбалке. Макс называл это «крутить воду». Дядя Миша, похоже, ушёл на ручей за хворостом, как и обещал накануне. Элизабет сидела у крыльца и чистила снегом и песком кастрюлю. Увидев Сашку, она остановилась, улыбнулась ему приветливо, с некоторым победным огнём в глазах, и спросила ласково, но требовательно:

– Температура как?

– Всё в порядке! – довольно бодро ответил он. – Температуры нет.

Прошла.

Сашка сразу повернулся и быстро зашагал к ручью. Дядю Мишу он нашёл в самой чаще кустов по пояс в снегу. Хворост тот заготавливал, разрывая вначале снег и стараясь обломать ствол как можно ниже.

Увидев Сашку, дядя Миша осуждающе помотал головой:

– Лежал бы ты, парень, без тебя управимся.

– Да всё нормально.

– Нормально, – проворчал дядя Миша, – ты уже на месяц вперёд настрадался.

– Давай помогу, – поторопился Сашка перевести разговор, – нож у тебя?

– Нож, нож... плётка тебе нужна, а не нож. Вот твой нож... Режь там вот, в снег не лезь... паршивец.

Дядя Миша со злости схватил куст потолще, крутанул его, надломил, резко дёрнул на себя и оторвал, размочалив ствол в лохмотья.

– Воц, – сказал он, бросая его к Сашке, – лучше носи их к избе. Промокнешь – опять на тебя спирт изводить...

Он выпрямился, повернулся к Сашке, как вспомнив что-то, и сказал:

– Да, слышь, я тут штуку видел странную. Ты ведь охотник? Пойдём-ка, посмотри, я не пойму.

Они прошли на чистое место, где снег потвёрже. Дядя Миша склонился к подножью торчащих во все стороны кустов и, ткнув рукой, удивлённо вымолвил:

– Смотри, вот песец бежал, так? Его дорожка. А вот глянь, как боролся с кем – кусты примяты, покусаны, ветки вот разбросал... Это вот слюна, да? Вот, замёрзшая... А с кем дрался? Других следов нет. Видишь? Он здесь прямо передо мной прошёл. Недавно совсем.

Он действительно прошёл здесь прямо перед дядей Мишей. Он катался, злился, рычал, рвал всё подряд... Он кусал бы и камни, если б они здесь были, у него течёт слюна, что даже замерзает сосульками на ветках... Сашка просчитал всё в секунду... Следы зверя вели в сторону их зимовья.

– Бежим домой! – крикнул он и рванулся со скоростью, несвойственной большим людям.

Дядя Миша столь же быстро выбрался из снега и, прихватив с собой пару длинных ветвистых кустов, побежал за Сашкой, так ничего и не поняв толком.

Возле дома они увидели вполне мирную картину: под лучами весеннего солнца у крыльца Элизабет чистила кастрюлю, недалеко Макс и Фрэнк, забросив в прорубь свою удочку, безотрывно смотрели на поверхность воды. Сашка завертел головой по сторонам. Ничего. Может, зверь ушёл в другую сторону? Так не бывает. Заражённый зверь всегда пойдёт к человеку... Со стороны Макса и Фрэнка раздались собачий лай... Американцы отвлеклись от своей проруби и увидели совсем рядом бегущую к ним белую пушистую собаку. Ни тот, ни другой и на секунду не поняли, что может нести с собой этот красивый зверёк. Макс, как раз в это время подхвативший доской одну льдинку, зачерпнул её вместе с водой и выплеснул на песка. Плётка воды развернулась в воздухе и ударила зверя по ушам и спине. Тундру огласил дикий звериный скулёж, и песец бросился прочь. Он бросился в сторону избы... прямо к Элизабет.

– Во орёт! – обескураженно произнёс дядя Миша.

Сашка его не услышал. Он побежал к дому, к его глухой стене, схватил руками одну слегка отошедшую доску и рванул на себя. Доска треснула на самом углу дома, и у него в руках оказался плоский двухметровый деревянный обрубок. Элизабет замерла от удивления: с одной стороны к ней бежала очаровательная собачка, с другой – Сашка с доской в руках. В голове её успела пронестись только одна мысль: они что, и собак едят? Но в последний момент она различила эти страшные, дикие и безумные глаза животного. Элизабет вскрикнула, инстинктивно выставив кастрюлю перед собой, и тут на собаку очень точно опустилась Сашкина доска. Доска ударила зверя плашмя, по всему телу, отбросив от крыльца на несколько метров. Песец покатился по снегу кувырком, тут же вскочил, бросился обратно. Сашка ткнул ему доской в обмётанную пеной морду, тот увернулся, схватил её зубами, как будто укусить хотел.

– Быстро в дом! – крикнул Сашка Элизабет.

Подбежал дядя Миша с кустом в руках, недолго думая, чисто по наитию замолотил остервенело своим кустом зверя справа, слева,

сверху, со всей силы, что была, да с такой скоростью и злостью, что Сашка от этой борьбы даже остановился, не зная, как тут подступиться, чтобы помочь... Очевидно, дядя Миша забил бы катающегося по снегу зверя до смерти, если бы тот не умудрился вскочить на лапы и сразу уйти в тундру... Сколько хватало глаз, они видели, что песец бежал по насту, даже не оглядываясь на избушку. Потом он растворился в далёких снегах. Тяжело дыша, дядя Миша обернулся к Сашке:

– Что это было?

Первый раз за всю поездку Сашка видел обескураженного и немного испуганного дядю Мишу.

– Бешенство, дядь Миш... слышал?

– Слышать – слышал. Вижу впервые. Злой, сучара.

Элизабет, так и не успевшая уйти в дом, стояла на крыльце, прижимая к себе кастрюлю, и боялась пошевелиться. Глаза её выражали ужас и восторг одновременно. Сашка бросил укушенную зверем доску на куст, которым дядя Миша охаживал песца, и попросил его принести оставшийся авиационный керосин. Горючим они облили всё это вместе, дядя Миша бросил туда «до кучи» и второй принесённый куст, сказал:

– Нехай и это сгорит...

И поднёс спичку.

– Ты сосульки эти трогал? – спросил Сашка, указывая на заледевшую, едва приметную пену зверя на ветках.

– Да, было, – дядя Миша отвечал, словно вспоминал что-то очень давнее.

– Снимай перчатки, – ровно сказал на это Сашка, – аккуратно снимай и бросай в костёр. Ветки придётся ломать теперь на другом ручье...

– Да уж, Бог с ним, – согласился тот, – лишь бы заразу не подхватить.

К разгоравшемуся костру подошли Макс и Фрэнк. Издали они видели всю борьбу, но понять не могли, чем так не угодила русским эта маленькая визгливая собачонка с пушистым хвостиком. В руках Макс держал за жабры только что выловленного крупного сига.

– Ну и щука у тебя сегодня, – устало кивнул ему Сашка на рыбину.

– Это не щука, – закартавил Макс на своём «русском». – Это лосось... глупый лосось... он не должен был ловиться. А что случилось?

– Собачка никого не цапнула? – спросил Сашка.

Макс и Фрэнк переглянулись. Элизабет тут же подсказала по-английски.

– Нет, – ответил Фрэнк, – Макс её водой облил... она испугалась. Очень противная.

– Её нельзя было прогонять? – спросил Макс.

– Прогонять как раз и нужно, – Сашка посмотрел на американцев: говорить – не говорить? – Бешеная она... заразная. В другой раз осторожнее будьте.

Огонь быстро охватил разлапистые кусты, и, пока горел керосин, языки пламени высоко поднимались вверх, пожирая ветку за веткой, а на них и кожаные перчатки дяди Миши. Макс и Фрэнк отдали свою рыбину Элизабет и, получив короткий, внятный инструктаж

от Сашки по части бешенства, ушли обратно к проруби ловить своих щук и «глупых» лососей. Элизабет зашла в дом, а Сашка с дядей Мишей отправились искать дрова в противоположной стороне от их злополучного ручья.

В этот вечер из-за горизонта тонкой неровной полосой поползли тучи и скрыли за собой склонившееся к земле розовое солнце. Тундра потемнела. В один момент снег перестал искриться, стал серым и безликим. Заря же над ним разлилась красная, очертив края облаков огненным, пронзительным светом. Погода менялась. После ужина дядя Миша вышел из дома выкурить свою очередную сигарету, а когда вернулся, одному Сашке негромко сказал:

– Ветерок подул, дело плохо...

Американцы на зарю не обратили никакого внимания. Прочитав вечернюю молитву, поужинав, они занялись ежевечерним делом: проверкой надёжности узлов на леске и подводкой крючка, шлифуя его на камне. Дядя Миша развалился на нарах, заложив руки под голову, и смотрел в потолок. Старый полярный волк знал, к чему ведёт перемена погоды... хорошей погоды. Однако свои мысли дядя Миша держал при себе. Лишний раз волновать гостей не стоило. Элизабет сидела на Сашкином месте у окна, смотрела в темнеющую даль, на первые загорающиеся звёзды и убывающую с каждым днём луну.

Пока было светло, Сашка ходил несколько раз к проруби, проверяя ледяную воронку. Возвращаясь к дому, задумчиво смотрел на идущие по горизонту тучи. Ветерок уже был довольно ощутимый, но при не очень низкой температуре вреда не представлял. Однако долго так тоже продолжаться не может, и Сашка уже ждал холода... а потом, может, и пурги... Пурга бывает не только в оттепель. Пурга в мороз – это гибель. За хворостом на ручей не сходишь. Рыбалка в снежной кутерьме – занятие практически невозможное. Заготавливать заранее?.. За прошедшее время у них ничего ни разу не получилось. Рыбы, выловленной Максом, едва хватало на сутки, собранного дядей Мишей и Сашкой хвороста – на день и немного ночи, к утру все просыпалось в холодной избе – окошко подёргивалось ледком, а на печке образовывался лёгкий узорчатый иней. Оставалась одна надежда, что пурга продлится недолго. Надежда слабая.

Ночью, засыпая в Сашкиных объятьях, Элизабет негромко сказала ему:

– Я была права: ты у нас талисман на удачу... Никто даже и не подумал, что этот песец болен... Здесь часто животные болеют бешенством, Сашья?

– Я здесь впервые... – пробормотал Сашка очень тихо.

Утром следующего дня задула позёмка. В воздухе крутились поднятые ветром лёгкие крупинки снега. В солнечных лучах они искрились, как грибной дождь на рассвете. Изредка эти крупинки собирались в целые облака и, подхваченные порывами ветра, развевались волнами по тундре. Солнце сквозь такие снежные вихри выглядело ещё более холодным и колючим. Снег намело в прорубь, и на воде воронки образовалась лёгкая вязкая «каша». Сашка уже точно ждал пурги.

С переменной погоды куда-то пропала рыба. За весь день Макс поймал полдюжины небольших щук, которых едва хватило, чтобы все хоть уснуть могли спокойно. Кустарник на другом, не заражённом ручье был не столь густой, и собранного за день хвороста едва хватило протопить печь до полуночи.

Беспокойство понемногу опять подкрадывалось к ним. Тучи поднимались по небу всё выше и выше, и к вечеру солнце спряталось в них задолго до того, как село за горизонт. Весь день Сашка глотал свой анальгетик, и к вечеру состояние его заметно улучшилось: температуры, по крайней мере, не было точно. Ночью он вновь долго не мог уснуть. Смотрел в окошко на озеро, раздумывая, что можно будет сделать, если задует пурга. Ничего особенного не придумывалось.

Осторожно, чтоб не побеспокоить других, он оделся и вышел наружу. Первое, что он ощутил почти сразу в одну секунду – мороз... Да, самый настоящий зимний мороз. Это было не минус пять или десять – это были самые коварные все тридцать, не меньше. С востока дул несильный, но обжигающий ветерок, срывая с наста крупинки снега. В противоположной стороне по горизонту плыли едва различимые рваные тучи, облитые светом небольшого месяца.

Сашка вернулся в дом, взял доску, которой Фрэнк вылавливал из проруби льдинки, и ушёл к воронке. Там он разбил корку льда, успевшую затянуть прорубь, повыбрасывал лёд на снег и вернулся обратно. Холод был весьма ощутимым – руки замёрзли в считанные минуты, брызги воды, попадавшие на лицо, леденели и щипали кожу. Положение их начинало опять катиться к безысходности. А чего он хотел? Чтоб месяц в тундре светило солнце и температура держалась как на горнолыжном курорте? Сразу надо было думать, сразу предугадать и хоть что-то предпринять...

Посидев час-другой за столом, уткнувшись лицом в сложенные кулаки, он снова ушёл к проруби. Лёд был слабым, ломался легко, схватиться ещё не успел. Так он ходил к озеру всю ночь. Ближе к утру Сашка уснул, сидя за столом. Его разбудил поднявшийся дядя Миша, спросил негромко:

– Случилось что?

– Мороз усилился, – тряхнул головой Сашка, протёр глаза и добавил: – Льдом затягивает. И ветер восточный... даже северо-восточный. Пурга, дядь Миш, будет.

– Дрянь дело... – проговорил тот. – Ладно, я пойду хворост поломаю, а ты вздремни хоть немного-то... Девчонка твоя вона замёрзла совсем... одна-то.

Улыбнулся ему по-отечески и вышел. Сашка тихонько забрался на своё место, проспал пару часов, встал и ушёл помогать дяде Мише заготавливать топливо. Все слабые доводы Элизабет о болезни были отвергнуты. Элизабет ушла вместе с ним и таскала хворост до вечера. В этот день Макс и Фрэнк обморозили на рыбалке свои носы, и Макс опять бормотал что-то наподобие: «Страшная страна Россия...» Рыбы на этот раз они принесли немного больше.

С приходом темноты все легли спать. Напряжение в доме было уже довольно ощутимым. Макс и Фрэнк в этот раз не стали проверять год-

ность лески на их удочке. Через два часа сна Сашка как по команде поднялся и, съев свою таблетку, ушёл к проруби ломать лёд.

Проснулся он утром за столом. Хотел пойти на прорубь, но увидел там Макса и Фрэнка и пошёл к дяде Мише на ручей. По пути ему встретилась Элизабет с охапкой хвороста.

Этим утром тучи собрались с силами и поползли на солнце. К обеду они затянули полнеба, ветер усилился, позёмка понемногу переходила в низовую метель. «Каша» на воде в проруби образовывалась всё быстрее. Пока Фрэнк убирал её с одной стороны воронки, Макс рыбачил с другой, потом они менялись местами, и так весь день, с небольшими перерывами на обогрев в избе. Изба же остывала очень быстро, топить её приходилось без перерыва, ломать кусты тоже приходилось без перерыва, носить их в дом... Дядя Миша не приходил с ручья до вечера. Ломал кусты от зари до зари. А вечером всё та же рыба... хорошо хоть рыба. А ночью Сашка тихонько вставал и шёл к проруби.

Тучи закрыли узкий серп месяца, и было очень темно. Идти приходилось почти на ощупь. Дом на снегу за спиной виднелся чётко чёрной глыбой, по нему и ориентировался. Тёмное пятно проруби тоже отличалось от общей массы снега. Сашка ломал лёд, выбрасывал его на снег и шёл обратно к дому. Делал он всё автоматически. Засыпал под утро за столом, просыпался, падал на нары, спал час-другой и шёл помогать дяде Мише. Элизабет уже ничего не говорила, она и сама двигалась от дома к ручью за хворостом и обратно как заводная. Пока все были заняты делом, говорить никто не хотел. Говорить было и не о чем. Все ждали пурги. Ждали как наказания... Но пурга где-то запаздывала.

А на четвёртый день ожидания запаздывающей стихии случилось то, что никто и ждать уже не ждал... Пришёл «борт». «Борт» пришёл с неба в виде вертолётки «Ми-8», тёмно-зелёного вертолётки с яркой красной звездой и номером «04» на фюзеляже.

Стояло раннее утро, ещё никто не успел выйти из дома на свою трудовую вахту. Дядя Миша задержался, растапливая печь, Макс с Фрэнком проверяли свою удочку, Элизабет куталась в пуховик и бесцельно водила глазами по нехитрой утвари избы, а Сашка в эту ночь так и не смог заснуть даже на пару часов, прикидывая, какую стену в соседней комнате можно будет разбирать на доски, когда начнёт мести пурга.

Рокот вертолётки, монотонный и не очень шумный, все поначалу приняли за слуховые галлюцинации. Повернулись и посмотрели друг на друга. Всем сразу одновременно одно и то же казаться не может... Все пятеро тут же высыпали из дома на крыльцо. Каждый потом себе признавался, что не видел в своей жизни зрелища более красивого и захватывающего. Тундра была как тундра. Молочное небо, низовая метель, снег, снег... тучи рваные, летящие по небу, и сквозь эту непонятную низовую метель изредка прорывалось солнце. И отовсюду холод, холод, холод... И звук. Настойчивый, ровный звук мотора. Потом звук пропал. Слово и не было. Все снова посмотрели друг на друга. Показалось?.. И опять на озеро. За ним, за озером,

там, за тундровым крутым подъёмом, было слышно... И вдруг здесь небо как взорвалось. Взорвалось рёвом винтокрылой машины, и вслед за этим рёвом из-за этого тундрового подъёма на высоте каких-нибудь тридцати метров вырвался тёмно-зелёный «Ми-8». Он вырвался, как на вираже, куда-то вверх, тут же выровнял маршрут, очевидно заметив показавшуюся избу, и, перевалившись на другой бок, с оглушающим грохотом пронёсся над крышей.

Сашка почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. Не обращившись, он осторожно сел на крыльцо. Все замерли. Смотрели на машину и глаз отвести от неё не могли. Никто не кричал, не визжал, не прыгал от радости, не обнимался друг с другом, не махал пилотам руками... Все стояли на крыльце рядом с Сашкой, смотрели на эту самую прекрасную машину в мире, самое удивительное изобретение человека. А машина, сделав круг над их домом, остановилась и стала снижаться. Шасси вертолёта коснулись земли и погрузились в снег, винт крутил всю, но уже не с той силой и воем.

Дядя Миша присел возле Сашки и сказал на ухо:

– Мы победили, Сашка.

Сашка кивнул. Потом подёргал дядю Мишу за рукав и заторможенно, также на ухо ответил:

– Ты трубу закрой... и дверь подопри... Пурга будет... Чтоб не надуло в дом...

Из вертолёта выбежали люди. Военные, штатский, в лётной форме... Подбежали, что-то спрашивали, перекрывая голосами шум двигателя вертолёта. Сашка ничего не слышал. Элизабет уткнулась Фрэнку в плечо и, вздрагивая всем телом, тихонько плакала, может быть, навзрыд... но незаметно. Макс что-то говорил ей и держал под руку. Очень быстро все разобрались, что случилось, и штатский в тёмном длинном пальто позвал всех в вертолёт. Времени, мол, нет. Дядя Миша спустился с крыши, забрал все вещи и потащил их к вертолёту. Американцы пошли за ним. Лётчик что-то крикнул Сашке и пошёл следом. Сашка хотел подняться, но... не смог. Он попытался вновь, но ноги не слушались. Более глупого, страшного и смешного положения для себя он и представить не мог. Сразу пропал куда-то вертолёт, пропали люди, пропал дом и тундра вместе с ним. Сашка остался один, один со своей бедой, с навязчивыми, пугающими мыслями и пустым, бегающим по снегу взором.

– Сынок, ты что? – услышал он сверху, поднял голову и увидел дядю Мишу.

– Я не знаю, – промямлил безвольно, даже потерянно, – встать не могу.

– Сынок, да ты что?.. – засуетился дядя Миша, зачем-то потрогал его за ногу и убежал к вертолёту.

Там он что-то попытался объяснить прилетевшим людям и уже через минуту шёл к Сашке вместе с человеком в гражданской одежде. Однако их обогнала Элизабет, первая быстро подбежала к нему, бухнулась на колени, обхватила ладошками его ноги и громко крикнула:

– Где болит, Сашья?

– Да нигде не болит, – глупо и тихо ответил он больше себе, чем ей, – встать не могу.

Но Элизабет умудрилась услышать.

– Как не м-могу? – ужаснулась она.

Сашка пожал плечами. Подошёл дядя Миша с человеком в штатском. Тот что-то шепнул дяде Мише, и он быстро оттащил Элизабет от Сашки. Она сопротивлялась, но дядя Миша был сильнее. «В штатском» взял Сашку за запястье и пощупал пульс, потом поднял его подбородок и как будто приказал, стуча себе пальцем по переносице:

– Сюда внимательно!

Заглянул ему в глаза и незаметно кивнул. Повернулся и ушёл к вертолёту. Там все засуетились, нашли Сашкин рюкзак, достали заветную дядьмишину фляжку, долго лили в кружку спирт, потом лили туда же минералку лётчиков. Весь этот коктейль тот, что в штатском, принёс Сашке и громко приказал:

– Пей!

– Что это? – тяжело спросил он.

– «Шило». Спирт с водой, один к одному. Осилишь?

– Что тут осиливать, – сказал Сашка самому себе.

– Пей.

– А в-вы врач? – засомневался Сашка.

– Врач.

– Все бы так лечили, – пробурчал тот и вылил в себя всё содержимое кружки.

Его передёрнуло от такой гадости. «В штатском» удовлетворённо кивнул головой и дал ему дешёвую карамельку закусить. Сашка понюхал конфетку, не разворачивая, и отдал кружку обратно. Элизабет неслышно лила слёзы, глядя на него скорбными глазами, губы что-то шептали. Дядя Миша стоял рядом и на всякий случай держал её за руку. От вертолёта уже шли все подряд, впереди почти бежали Макс и Фрэнк. Когда все обступили Сашку полукругом, он был не в силах от стыда поднять глаза. «В штатском» посмотрел на часы, взял Сашку за руку, проверил пульс.

– Готов! – громко скомандовал он. – Вставай, пошли.

Сашка встал. Удивлённо посмотрел на «врача». Хоть его и шатало, но ходить он мог.

– А что было? Я не понял.

– Нервы, парень, лечить надо! – сказал тот. – Больше ничего.

Пьяного Сашку увели в вертолёт. Красивая винтокрылая машина взмыла вверх и ушла прочь от пурги и безысходности в далёкий город. В салоне Сашка совсем захмелел, что-то болтал Элизабет на ухо, она улыбалась, глаза её высохли и иногда коварно сверкали. Потом Сашка повернулся к дяде Мише и прокричал под рёв вертолёта:

– А врач хороший, грамотный!

Дядя Миша рассмеялся, махнул рукой и на ухо Сашке ответил:

– Какой он тебе врач? Это... особый отдел погранцов. Понял? Гэбэшник это главный у них. Рот держи на замке! Они уже в город шли, а он предложил проверить Халембой. Вот как бывает! – И выразительно раскинул брови.

Когда ближе к вечеру частное такси привезло Сашку к дому, когда Элизабет вытащила его оттуда и довела до квартиры, потом чуть ли не насильно впихнула ему в карман доллары, позвонила в дверь и, оставив Сашку одного, с обещанием, что они обязательно снимут этот фильм и она скоро прилетит сюда обратно, Сашка, держась за дверной косяк, предстал перед Ксюшей.

Хан и Моська встретили его радостно. Первый устроил тихий скулёж, а второй тёрся обо что попало и мурлыкал на всю квартиру.

Ксюша обхватила его за шею и прошептала:

– Сашка, Сашка... в городе говорили: ваш самолёт разбился в горах...

После душа он прямо в трико завалился в кровать и сразу уснул. Ксюша пришла из кухни, неся в руках тарелку с супом. Поставила на табуреточку рядом, села, провела ему рукой по лбу. Похоже, спит. Раздался телефонный звонок, она поднялась.

– Да. Как могут быть дела, мам? Живы они, слава Богу. Хорошо, я буду осторожна.

Ксюша положила трубку, посмотрела на Сашку, села рядом, очень осторожно прикоснулась ладонью к его лицу.

– Спишь? – тихо спросила она.

Сашка спал сном младенца.



**Сергей
БУДАРИН**

ЗВОНКОЕ НЕБО

Полночь сыра и душиста.
Кони стоят у плетня.
Хрипнет гармонь гармониста.
Тлеет костёр без огня.

Сосны глухими рядами
Стонут на диком юру.
Хвойными держат руками
Месяц в гудящем бору.

С грустью кукует кукушка,
Сидя на ветке сухой.
И покосилась избушка
Под невесёлой ольхой.

О ты, сосна дорогая,
Полночь и месяц седой!..
Пусть меня тройка гнедая
К жизни несёт молодой.

Пусть распоётся гармошка,
Пляшет огонь над костром,
И загрустит у окошка
Мать обо мне, дорогом.

Станет гадалкой кукушка
Врать мне о жизни иной.
Каждая рядом избушка
Будет казаться родной.

-
- Сергей Сергеевич Бударин родился в 1990 году в г. Новокуйбышевск Самарской области. Автор поэтических книг «Свет-Синева» и «Страна речного ветра». Публиковался в журналах «Наш современник», «Юность», «Молодая гвардия», «Великороссь», «Родная Ладога», «Невский альманах», «Аврора», «Парадный подъезд», «Подъём», «Аргамак», «Горцы», «Новая Немига литературная», «Простор», «День и Ночь», «Гостинный двор», «Волга-XXI век», «Русское эхо», «Сура».

Участник Первого Международного совещания молодых писателей в Переделкино, XIII Международного форума молодых писателей. Лауреат многих литературных премий. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

Зреют в заоблачной ниве
Звёздные зёрна зари...
Звон в колокольном разливе
Льют по земле звонари.

Звёздную высью рябою
Зёрна зари расцветут.
В роще пред сонной избою
Тихо старухи поют

Песню о жизни неспешной
В светлой своей стороне...
Скачет в долине безбрежной
Всадник на белом коне,

Колос в заоблачной ниве
Лунным срезает серпом.
Кормится в радужной жниве
Конь его звёздным овсом.

Песню о жизни неспешной
Тихо старухи поют.
Звон колокольный, утешный
В сердце своём берегут.

День лучезарный певуч,
Катится с неба волною.
Тёплый пульсирует луч
Яркой игристой весною.

По небу ходит волна
Русского доброго света.
Плещет о стёкла окна
Райская музыка эта.

Утром журчащим проснусь –
Музыкой неба согретым.
В день ключевой окунусь
В горнице, залитой светом.

С бледной ладони небес
Снял ты кольцо золотое,
Светом рассеял окрест
Вещее Слово святое.

В млечной магической мгле,
В бездне космической чёрной
Встал я, чтоб жить на земле,
Светом любви обручённый.

Ранним искрящимся летом
В снежном метельном бреду
Млечным окутаны светом
Яблони в нашем саду.

Солнце алеет и пышет,
Цвет осыпая с ветвей.
Звонкое небо колышет
Песней своей соловей.

Яблоком жёлтым созреет
Солнце на ветке зари.
Сердце моё отогреет,
Светом любви обагрит.

Молнии грозно сверкали,
Вились узором в ночи,
Бездну, звеня, рассекали
Горнего света мечи.

Сила небес проливалась
На золотые поля.
Как на дрожжах волновалась
И разбухала земля.

...Утро засветит лампаду
В горнице русских полей.
Буду гулять до упаду
В куще родных тополей!

Прямо к ногам головою,
Словно поверженный враг,
Тенью падёт вековой
Ночи разрубленный мрак.

Сокол, паря в небесах,
Тьму воронья одолеет.
Светом в моих волосах
Луч заревой заалеет.

Сокол крылами взмахнёт,
Небо к земле прижимая,
Волнами тень всколыхнёт,
Солнце на крылья вздымая.

Небо с крыла на крыло
Катится, страха не зная,
Держит всем вранам назло
Солнце вселенского рая.

На лугах васильковых небесных
Стадо топчет подсолнух златой.
Погоняет коров бестелесных
Заискрившийся хлыст грозовой.

А в грозу васильки луговые
Не поют о земле дорогой,
Только свищут ветра вековые
Над свинцовою шумной рекой.

Снова сердце слезой прожигает
Грустный взор васильковых очей.
И небесное стадо рыдает
От ожогов пастушьих бичей.

Знаю: тучи разлуки сердечной
Слижут слёзы небесных коров,
И под солнечным светом предвечный
Засияет небесный покров.

Подхожу я к туманной дороге,
Где золотая рыдает ветла,
И в горящей осенней тревоге
Журавлей пролетает стрела.

Путь змеистый и месяц высокий
Сквозь туман предо мною блещут...
Что сулит мне мой путь одинокий
И о чём мне так звёзды гудят?

Может, там, в стороне неизвестной,
Будет сердце слезой прожжено
И, как месяцу в яме небесной,
Мне во тьме утонуть суждено.

Но, быть может, в краю неизвестном
Не сгорю я в житейском огне
И в таинственном гуде небесном
Буду петь о своей стороне...

И весна над округой родною
Вольной птицей расправит крыла.
Будет ждать меня мать под ветлою.
Будет встреча, как песня, светла.



**Натэлла
ЛЕВИЦКА***

ВиолонЧЕЛ

Я протягиваю руки
в одинокое пространство –
белые большие птицы
устремляются ко мне –
отраженье.
Я протягиваю нитку
от проёма в глубь пространства,
но не чую натяженья
на обратной стороне;
так, колодец измеряя,
будет долго падать камень,
но не стукнется о воду
или, если нет,
о дно,
будешь долго в ожиданье
напрягать ушные нервы,
слушать: не всплеснёт ли
эхо,
где оно?

Снег...
Малые голландцы... –
та же палитра
красок,
те же, по сути,
лица,
да и чему
измениться?
Мы тоже стары
как мир...

* По желанию автора биографическая справка отсутствует.

Если вы полагаете,
что за ухом
перо у меня
гусиное,
а вместо сердца –
чернильница...
Да я и не возражаю.

– Мы с тобой не встречались –
лет сто...
– Я так выгляжу?
– Нет, я так думаю.

Парабола – это когда
отсюда – туда,
а там вычислили –
и теперь отсюда –
пора бы.

Мы с тобой –
словно
с разных планет,
из разных галактик
и разных вселенных,
а достаёшь ты меня
конкретно.
Как тесен мир!

Вот – собака...
такая преданная
своему хозяину,
будь он трижды
предатель –
ей, собаке, по барабану.
Ты – предатель,
Но я – не собака.

Врасплох – это когда
р-раз – и плохо...

Капают листья
с клёнов
сусальной фольгой,
нагретой
в ложке свинцовой...

ВиолонЧЕЛ

Словно маленькая девочка
под тяжестью виолончели,
на тоненьких ножках
и в беленьких гольфах,
надрывается – из музыкалки –
после вечера, посвящённого
Дню космонавтики,
или празднику
парижской коммуны,
или просто – защиты детей, –
пытается втиснуть
с первой площадки
футляр
размером в свой полный рост
и вызывает
всеобщее сочувствие,
негодование в адрес
родителей,
уличение в жестоком обращении –
но не желание
уступить место, –
так и все мы –
зачехлились в футляры –
и виртуально, если ты тонешь,
бросим тебе все
круги спасательные,
и с моста укажем
путь до бакена,
и даже с безопасной позиции
пруководим
твоим спасением:
будем показывать
упражнения –
как дышать
и экономить силы,
и, прежде чем уйти
под воду,
необходим
глубокий вдох...
Теоретически – мы все поможем,
а практически – не дай Бог.

А девочка со своим футляром
будет мотаться
по первой площадке
из стороны – и в другую
сторону,
оберегая инструмент от удара,
потому что он
очень дорого стоит,
её накажут
и не купят новый,
если она, россомаха такая,
не умеет ценить
чужие деньги
и чужой труд...



**Георгий
ПАНКРАТОВ**

ФЕСТИВАЛЬ

Гришка был дурачок. В 16 лет он написал пьеску о том, как парень с девушкой сидели на ночном причале и смотрели на воду и звёзды. Парню хотелось любви, но он говорил девушке о том, как хорошо, что они, мол, не любят друг друга, а просто дружат. Девушка кивала, а затем помогла ему утопиться и ушла.

Прошло много лет, а точнее – пятнадцать. Пьеска была перепечатана. Правда, акцент сместился. За эти годы Гришка, когда-то мечтавший очаровать дам творчеством (в 16 лет в такое, конечно, верят), понял главное: дамам творчества не надо, их оно даже злит. Пьеска обросла дополнением – про то, что сочинил её некий бедный писатель, которому не на что жить. Жена выгоняет его из дома и говорит: мол, не приходи, пока не продашь пьеску, чудик, а сама звонит в это время тому, кто свозит её на море – на настоящее море.

Не будь (а точнее, будь) дураком, Гришка отправил пьеску во все два серьёзных драматургических журнала самой большой страны и на пяток конкурсов, где принимались пьески. И тут, фигак, заходит он как-то в Интернет и видит на странице конкурса – международного, причём российско-украинско-белорусско-казахстанского и так далее, вплоть до Лондона – свою рожу. Да не просто рожу, а с приписочкой, что, дескать, в шорт-листе он, среди пятерых ещё счастливчиков. С пьесочкой своей 15-летней давности.

Правда, рассчитывать на приз можно было лишь в случае, если отправишься за ним на фестиваль, за тридевять земель, в белорусское царство, в развернувшееся там на целых пять дней литературное государство. «Ну,

-
- Георгий Витальевич Панкратов родился в Санкт-Петербурге в 1984 году. Публиковался в журналах «Нева», «Север», «Сибирские огни», «Нижний Новгород», «Кольцо А», «Пролог» и проч., на портале «Литература». Финалист премии «Дебют» (2014), участник лонг-листов премий «Ясная поляна» (2015) и «Волошинский сентябрь» (2015), лауреат и призёр различных региональных премий. Проживает в Москве и Севастополе.

кто-нибудь не приедет, наверное, – подумал дурак Гришка. – И третье место верняк моё будет».

Собрал он вещички и отправился в Беларусь, значит. По дороге побазарил с молодой женщиной, соседкой, о том, чё почём в Беларуси, как люди живут, чем занимаются. «Взяток нет, на дорогах никто не лихачит, – говорила красавица, попивая пиво. – И работы нет». «А о чём ты пишешь?» – спросила она. «А...» – отмахнулся Гришка.

Утром встал, прямо с вокзала отправился в Дом культуры. Через часик всё началось. Подошли писатели, с тяжёлыми, похмельными взглядами, заняли несколько рядов в актовом зале и приступили к оценке пьес. «Конкурс зрительских симпатий» называется. Гришка решил не напиваться прежде времени, да и десять утра было. Оказалось, что конкурентов у него трое, причём двое местных, белорусских, всем участникам хорошо известных, а одна – из Москвы, где и сам Гришка в последние годы околачивался.

Один вышел, рассказал про криминал – какая-то пьеска у него про разборки, про финансовые махинации, – а сам человек сморщенный, маленький – не в смысле личности, а в смысле телосложения. Гришке всё хотелось спросить, откуда он знает эту среду, о которой пишет, откуда черпает вдохновение. Но не спросил. Другая читала про дорожные «зебры», про парикмахерские, про замученных жизнью немолодых женщин. Может, и была там интересная развязка, да её оборвали на полуслове. И лишь один – крупный и жизнерадостный мужчина в очках – читал заводную пьесу в стихах про какие-то ожившие фрукты и предметы быта. Гришка, недалёкий паренёк, ничего не понял, но взбодрился.

Когда он вылез на сцену сам, передал главную идею – что, мол, такое море, что оно значит для человека в большом городе и как сохранить семью, если ты занимаешься по жизни чёрт-те чем, то есть пьески дурацкие пишешь. Он был в куртке с якорьком, которую не снимал, и футболке с кораблём, что подчёркивало морскую тему его путешествия. Но голос предательски дрожал. Гришка бесился сам, слушая свой дрожащий голос, но, с другой стороны, думал: «А почему у них не дрожит? Что, для них это всё не важно? Не то что там премии какие – нет, а вот то, что они сами пишут».

Он сел, отстрелявшись, но его тут же поправили, словно школьника. Ведущий конкурса зрительских симпатий уточнил со сцены, что, мол, не ту идею молодой человек увидел в собственном произведении. И зачитал отрывок из его же пьесы, но практически из самого начала. Гришка, глупенький, достал мобилу и заснял фрагмент: что и говорить тут, ощущение сюрное, когда взрослый серьёзный человек, заслуженный председатель всяких там союзов читает вслух строчки, которые накорябал от скуки шестнадцатилетний гопник и начинающий алкоголик.

В целом всё закончилось нормально. Когда зрители голосовали, его вновь попросили на сцену, и он, чтобы хоть что-то сделать, а не стоять как дурак, хотя он и дурак, опять достал мобилу и начал снимать зрителей.

– У нас в Москве все так делают, – пояснил Гришка публике.

Голосовали за него, как показалось, вяло, но, как оказалось, немало. Среди зрителей он рассмотрел молодую женщину, поднявшую руку, и вдруг осознал – хотя и раньше догадывался, – что она единственный человек в зале младше сорока. А ведь самому Гришке был только тридцатничек.

– Обернись, – сказали Гришке.

И он увидел, что за него поднял руку сам председатель жюри.

На улице к нему подходили люди, говорили много хороших слов, поздравляли. Хотя поздравлять с чем? Вторым местом в конкурсе зрительских симпатий, о котором никто, кроме голосовавших, не узнает, да и те скоро забудут? Поэт Леонид подарил Гришке свой распечатанный стих и нарисовал на нём свой автограф. К стыду, Гришка первый раз слышал, кто он такой, Леонид этот. И, наверное, в последний. Такой уж он был, Гришка, плохо у него с памятью.

Стих был посвящён возвращению Крыма и преисполнен пафоса и восторга. Гришка считал себя крымчанином, так как вырос и часто жил в Севастополе. Он, конечно, был рад возвращению, но стих был написан так, что ему стало неловко. Как будто Крым отвоевали после многолетних битв и героической обороны, а ведь там просто прошёл референдум. Гришка не знал, что сказать.

Выручила его женщина – та самая, что голосовала в актовом зале. Она вежливо попросила у Гришки разрешения познакомиться и поговорить, отчего тот немного офигел – такого с ним ни разу не случилось, да и не звезда же он какая, не Захар же, наконец, Прилепин. Пока все погружались в «маршрутку», в которой гостей фестиваля обещали отвезти на какой-то круглый стол, он не растерялся и открыл переднюю дверцу, возле водителя. Там как раз было два места. Женщине это понравилось.

– Ольга, – представилась она.

Ольга была, как бы это сказать... Не членом даже, а кандидатом в члены, что ли, слушателем курсов местного литературного союза. Задав дежурный вопрос про Гришкину пьеску и не дав тому толком ответить, она понеслась рассказывать о своей жизни. Гришка сперва пытался разбавлять её речь своими междометиями, но вскоре понял, что можно просто расслабиться и слушать. Всяко, с симпатичной женщиной было веселее, чем наедине с собственными несимпатичными мыслями.

Ольга была замужем, сидела с ребёнком и нигде не работала. От скуки она начала писать стихи и принесла их в местный союз писателей. Там их разбирают в буквальном смысле слова на части и обсуждают.

– Много вражды, – сказала она и быстро переключилась с их маленьких семинаров на сам международный фестиваль. – Вчера одна женщина вышла на поэтическом конкурсе и стала читать прозу. Ей говорят: здесь же поэты собрались, давайте соблюдать. А она: не хочу я ничего соблюдать, вы мне столько лет, говорит, рот затыкаете, вот и сейчас... Начала ворчать, мол, когда прозу читают, ей тоже не дают, когда стихи – не дают. И как закричала: нет, говорит, буду читать, сколько хочу, а вы меня будете слушать!

– И что, никуда не делись? – спросил Гришка, поглядывая за дорогой.

– А куда они денутся? Дочитала, обматерила всех и ушла.

Гришка подумал, что вот для человека так важен сам факт, что его будут слушать, а он будет читать, что он готов добиться его любой ценой, хоть привязать своего слушателя к батарее и вставить ему кляп в рот. Он уже встречал таких людей и считал их больше маньяками, чем писателями.

Этим мыслям не дал развеяться форум, на который их привезла маршрутка. На форуме поставили вопрос: «Что такое современная литература и зачем она нужна?» Первым завёлся известный уже Гришке Леонид. Хоть и было видно, что мужик нормальный, но прозвёс он банальность: «Как нам избавиться от графоманов?»

И понеслось. Уже на второй минуте некоторые участники не смогли воздержаться от взаимных обид и обвинений. Если бы это был футбольный матч, думал Гришка, они бы уже заработали пару красных карточек. Вообще, футбол он посмотрел бы с большим удовольствием.

«Чем им так мешают графоманы? – всю дорогу думал Гришка. – Ну пишет и пишет человек что-то там в уголке, возле лампы. Ну и пусть себе пишет. Это ведь прекрасно, когда человек пишет. Не спорит о том, как надо писать, не бьёт себя в грудь, не рассуждает о смыслах, а просто пишет».

– Сама постановка вопроса надуманная, – сказал он, не выдержав, Ольге. – Все они никогда ни о чём не договорятся. Им нужно просто о чём-то говорить, спорить, раз уж приехали. Каждый утверждает о назначении писателя, о судьбе писателя. Но у каждого писателя назначение своё, каждый занимается тем, для чего именно он предназначен. Какой смысл перекрикивать, доказывать что-то?

– А ты откуда знаешь, какое у тебя предназначение? – почему-то спросила Ольга.

– Да откуда? – на автомате повторил Гришка (и действительно, откуда?) – Да я не знаю... Какое предназначение... Я занимаюсь одной литературой, кто-то другой... Общего на всех никогда не будет. Но главное я знаю: нельзя застрять в этом вот как в масле... В графоманах, в судьбах, в форумах этих... Нужно быть отдельно, самому по себе. Тогда больше сделаешь.

Свои повести и рассказы Гришка писал так же, как принимал поставки в бытность свою грузчиком. Тяжело вздыхая, когда приходила какая-нибудь идея, но почему-то считая, словно откуда-то зная: надо. Это «надо» довлело над ним, словно необходимость разобрать новый гружёный паллет или, наоборот, скомплектовать сложный заказ, чтобы потом вздохнуть облегчённо: ну вот, теперь можно и перекурить.

Ольга дала почитать Гришке свои стихи. Сам Гришка стихов не писал давно и не хотел их читать, но девушке не откажешь. В стихах не было ритма и большей частью рифмы, но пара последних четверостиший его зацепила. В них было какими-то элементарными сло-

вами передано ощущение ребёнка, провожающего взглядом со своей детской площадки летящий самолёт.

– Мне это понравилось, – сказал он и попытался объяснить, что именно понравилось, как будто стоп-кадр, слайд, который возник у него в голове, родив приятное чувство, словно подул лёгкий ветерок и затрепетала занавеска у балконной двери. Но объяснить не смог.

«Поэзией это не назовёшь, – думал Гришка. – Но как объяснить женщине, что мне такие стихи милей, чем поэзия? Она ведь хочет поэзии».

Да, и эта женщина хотела того же – чтобы ей подтвердили: да, написано хорошо. Она не хотела родить ощущение ветерка в голове Гришки, она хотела просто получить комплимент: да, у тебя получилось сложить слова в стройную цепочку. Но слова, сложенные в цепочку, никогда не трогали Гришку, даже сложенные им самим.

Договорились встретиться вечером, на награждении. Он отправился в гостиницу, помылся, полежа на диванчике, глянул в окошко. Затем выпил пива и отправился на церемонию.

Ольга сидела в обществе пожилых женщин в ярких нарядах, но, увидев Гришу, приветливо помахала рукой и пересела к нему.

Ожидание начала церемонии затягивалось, впрочем, ни одно мероприятие здесь не начиналось вовремя – это Гришка уже понял. Пока на сцене царил тишина, в зале читали стихи – человек вставал и, не выходя в центр зала или на сцену, прямо со своего места зачитывал что-то вслух. В основном это были женщины, и стихи у них были женские, стилизованные под плач или заклинание, или, наоборот, крайние формы позитивных эмоций, каких не бывает в жизни и какие существуют только в стихах. Гришка был ценителем средних, спокойных эмоций, он наблюдал за выступавшими, чувствуя себя совсем не одним из них, а так, словно бы он прилетел с другой планеты и теперь изучает земную жизнь и по увиденному пытается сделать вывод. Какой? Наверное, что нужно лететь дальше, задерживаться не стоит.

Ольга не могла оценить стихи профессионально, но она очень остро чувствовала фальшь. Очередное «солнечно-летнее» выступление поэтессы, которая срывалась в самодеятельную песню и лишь изредка вспоминала, что читает стихи, вызвало в ней раздражение.

– Они вообще где живут, эти люди?! – в сердцах воскликнула она. – Не знают, что происходит? По сторонам не смотрят?

Гришка стеснялся признаться самому себе, но деваться было некуда: стихи его с некоторых пор сильно раздражали. А уж от такого их количества ему и вовсе стало тошно. «Поэт – это п***», – вспомнил он короткое определение своего районного дружбана времён юности, когда сам Гришка впаривал тому свои стишата. Тогда он был готов перегрызть горло за эти слова, доказывая, что поэты – «лучшие люди». Сейчас, приобретя суровый вид, он понимал: всё так.

Некоторые писатели посматривали на Гришку удивлённо. Он был сам по себе, на мероприятия после форума не ходил и, похоже, не планировал. Зачем приехал? Из-за молодой женщины, в буквальном смысле вцепившейся в него, он так ни с кем больше не позна-

комился, да особо и не жалел. Он переводил взгляд с незнакомых лиц, заполнивших соседние ряды, на аккуратные бежевые бантики на босоножках Ольги. Они ему очень нравились, не Гришке – его взгляду, который так и норовил опять «упасть».

Классическое завершение такого знакомства могло быть только одно: переспать с женщиной. Но Гришка состоял в гражданском браке и не нуждался в том, чтобы «ходить налево», свою женщину он ценил. Да и секс для Гришки не так много значил, как, кажется, должен был для мужчин: его куда больше заботил вопрос, как состояться в жизни, а точнее, спасти свою жизнь. Он читал много раз у писателей, как те приезжают на какой-нибудь фестиваль или презентацию собственной книжки (что дурачку Гришке вряд ли светило, но вот туда же!), знакомятся там с девушками и что из этого выходит. Особенно врезался в память рассказ писателя, где одна из таких девушек в ожидании встречи прочитала произведения автора и написала ему гневную смску: «Не могу понять, ЗАЧЕМ ты всё это пишешь?». Ну, или что-то вроде того.

«Не могу понять, зачем, не могу понять, зачем...» – крутилось в голове у Гришки.

А вот хотела ли этого сама женщина, он так и не понял. Ну, дурачок был, говорю же. В перерыве, когда он пил коньяк, а Ольга – сок, она рассказала ему всю свою жизнь – что с мужем не очень, что не понимает, ревнует, а сам... И вообще... Мол, хочется от этого всего хоть как-то отдохнуть, забыть.

– Зачем это всё рассказываешь? – неожиданно спросил Гришка. – Совсем незнакомому человеку ты выложила сегодня всю свою жизнь. Я знаю о тебе всё.

– Ой, ну совсем не всё, – улыбнулась женщина. – Ну, а почему бы и нет?

Председатель жюри и эксперт в драматургии сидел рядом и напиивался. Он был известным человеком, добившимся успеха, в отличие от всех, кто сидел с ним за одним столом. Наверное, старые друзья, «застрявшие в дыре».

– А вот возьми и сам купи нам всем коньяк! – отчитывал он приятеля, который разве что со стула не падал. – Слабо? А то всё я да я! Что за дела такие?

Через десять минут он вызвал на сцену Гришку, чтобы вручить ему диплом за второе место в конкурсе зрительских симпатий.

– Поприветствуем звезду драматургии! – качаясь, объявлял он.

Гришка оценил иронию и пожал руку председателю: казалось, тот это понял. Он сам прекрасно осознавал: ну какой он драматург? Не его область. Но когда по версии жюри наградили всех, кроме него, стало неприятно. И криминал, и парикмахерш, и монотонный бубнёж со сцены. За бортом остался один он, Гришка. «Им не нужно ничто пронзительное, ничто дрожащее, ничто волнующее», – со злостью думал он.

Ольга оказалась стойкой. Она посетила все мероприятия форума и притом была единственным человеком на них, кто не был ни участником, ни организатором! Гришка восхитился её упорством. Она тер-

пеливо сидела и слушала (и даже записывала!) то, что ей вряд ли когда-нибудь ещё пригодится. Кончится декрет, она снова выйдет на работу продавцом, и казавшийся отчего-то волшебным мир литературы для неё кончится.

– Тебе оно ведь и не нужно, Оль? – сказал Гришка.

– Я сама понимаю, – кивнула она.

На сцене пошло веселье. Гости и участники фестиваля вручали дипломы друг другу, не стесняясь, менялись микрофонами, чтобы поздравить друг друга с тем, какие они замечательные писатели и поэты, да и вообще люди. Особо удачливые увезут в свои родные края дипломов по семь, подсчитал Гришка. Потом начались танцы: под выступление местного художественного ансамбля писатели выстроились «паровозиком» и принялись бегать по залу, лихо отплясывая и выдёргивая тех, кто ещё просто сидел и смотрел. Интересно, подумал Гришка, если бы здесь сидел Виктор Пелевин, он бы пустился в пляс?

– Оль, не могу, – сказал он, – уйду.

Она решила остаться.

Наутро он прошёлся по музеям, сделал фотки. Маленький городок оказался очень красивым, уютным и спокойным. Меньше всего хотелось на мероприятия форума, но надо было попрощаться с Ольгой. Да и обещали презентацию другого дружественного фестиваля, о котором он планировал узнать.

Обманули. Когда Гришка пришёл в зал, там опять читали стихи. Запомнился армянин с весёлыми и остроумными историями, остальное было тоскливо. Выступала местная молодящаяся женщина, влюблённая в себя. Она читала про своих друзей из того же союза, сидевших тут же, не стесняясь слова «гениталии» в стихах. Выступала поэтесса из Крыма и читала стихи, в которых «ни капли Крыма». Выступал ещё кто-то, кому так важно было выступить.

– А ты ведь из Москвы, да? – обратился к Гришке один из самых авторитетных людей, организатор.

Откликаясь на внезапное внимание, Гришка открыл было рот и начал рассказывать, что вообще он и из Питера, и из Севастополя, и вообще где только не жил, но...

– Тут журналы надо передать, – прервал его организатор. – Сделайшь, а?

Через несколько минут Гришка, снабжённый тяжёлым пакетом, выпил местного пива в дешёвом баре. Оставалось немного времени до поезда, чтобы съездить к Кургану – он планировал посмотреть этот памятник истории ещё с утра.

В маршрутке он сел на переднее место. Водитель пробил чек и проследил, чтобы пассажир его забрал. Через какое-то время на остановке завалилась бригада, возвращавшаяся, видимо, со смены: один относительно трезвый и двое смертельно пьяных, грязных мужиков.

– Довези, а! – сказал «трезвый», хлопнув водителя по плечу.

Видимо, они были знакомы. Водитель кивнул.

– Платить надо? – нахально спросил «трезвый».

– За себя – нет, – ответил тот. – А за этих надо.

«Трезвый» с грустью расстался с десятью тысячами белорусских рублей, и через пару остановок они вышли.

– Ну надо же так напиваться! – покачал головой водитель. – Ну, я сам понимаю, молодой был, ноль-пять водки выпьешь – и на танцы пошёл! Но в свинью-то зачем превращаться?

– Ну это у кого какие удовольствия! – пошутил Гришка.

И водителю шутка, похоже, понравилась.

Он напоминал Гришке его умершего дедушку, добрейшего человека, на вид ему было лет 55, а то и 60, в Москве бы такого не пустили за руль, там одни таджики, а тут – живёт человек, крутит баранку, распечатывает билеты. Счастливая страна Беларусь!

– Ну вот и приехали, – произнёс водитель. – Конечная.

– Как приехали? – изумился Гришка. – Мне же нужен Курган. Ну, там ещё аллея большая такая, Вечный огонь... – он попытался вкратце объяснить, куда ехал.

– Так это в другую сторону! – весело сказал водитель. – Хочешь, поехали. У меня через десять минут рейс, тут с этим строю.

Но Гришка решил поступить по-другому. Ему запомнился вид из окна маршрутки за остановку до конечной. Оставался час до поезда, и он уже никуда не успевал. А в дорожной сумке лежали литр холодного пива и местные очень вкусные сухари.

Он перешёл через дорогу и какое-то время шёл вдоль деревьев, вдыхая пыль, которую поднимали машины. Но их было не так много, а через пару минут деревья поредели, и, взглянув за них, можно было увидеть речку, и тут же, рядом, оказалась тропинка, ведущая прямо к ней. Цепляясь за кусты и отмахиваясь от насекомых, Гришка преодолел это коротенькое расстояние, которое отделяло его от счастья. Он стоял на берегу, заросшем травой и кустами, на маленьком клочке голой земли, и возле его ног неторопливо текла белорусская красавица-река. А то и не текла вовсе, а просто стояла: ведь в этот миг Гришке показалось, что и время остановилось.

На другом берегу речки стояли одинокие домики, какие-то низкие продолговатые здания, казавшиеся разрушенными, откуда-то поднимался лёгкий дымок, и вдалеке – там, откуда Гришка приехал – виднелся большой автомобильный мост. Вокруг говорили птицы, названий которых он, городской житель, не знал и к которым там, у себя, никогда не прислушивался. Он аккуратно открыл пиво и, направив взгляд к небу, сделал большой и жадный глоток. И пиво было таким вкусным, каким вообще никогда не может быть пиво. Самое обычное пиво, за двадцать пять тыщ белорусских рублей.

Гришка сбросил с себя куртку с якорем и положил рядом на траву. Он улыбался и жадно напоминал это чувство, это прекрасное мгновение, это лёгкое дуновение ветра, от которого колышутся послушные ветви, словно снимал драгоценный слайд, который будет пересматривать потом, в холодные и беспросветные дни, которых впереди ещё так много. «Но когда-нибудь они закончатся, – шептал лес и журчала речка. – Когда-то закончится всё. И будет только это. Потому что это будет всегда».

И он внезапно прочувствовал всей душой – нет, какой там душой, берите выше, господа писатели! – всем телом – так, что его аж затрясло, словно сквозь него пустили электрический ток: а ведь место писателя – оно здесь. И судьба, и назначение, и «смысл литературы», и всё вообще, что есть у писателя, – и плоть, и кровь его, и жизнь – всё здесь. Не на форумах, не на круглых столах, не в актовом зале и не в буфетах ДК – здесь!

А если есть что-то ещё – оно лишнее.

Главное – чтобы был виден тот, другой берег, с которого идёт дым. Чтобы сверкало чистое небо и по нему плыли белые низкие облака. Чтобы говорили неизвестные птицы – и каждая из них имела право говорить, и каждая из них была услышана.

По крайней мере им, Гришкой, – точно. Он ведь дурачок у нас был, птиц слушал.



В САРАТОВЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА ДЛЯ МОЛОДЫХ АВТОРОВ

В декабре 2015 года были подведены итоги литературного конкурса «Волжская волна», приуроченного к Году литературы в России. В конкурсе принимали участие авторы в возрасте от 17 до 35 лет, проживающие в Саратове и Саратовской области. Молодые писатели попробовали свои силы в разных номинациях: малой прозе, поэзии, свободной форме. Всего на конкурс поступило 26 творческих работ.

Конкурс проводился при организационной поддержке Министерства информации и печати Саратовской области. В состав жюри конкурса входили представители Института филологии и журналистики СГУ имени Н. Г. Чернышевского, «Саратовской ассоциации молодых журналистов», редакции литературно-художественного журнала «Волга–XXI век», министерства информации и печати Саратовской области.

Лауреатами конкурса стали **Андрей Музалевский, Яна Муслимова, Алёна Жилкина, Анастасия Ястребкова, Евгений Мельников**. Специального диплома удостоена **Елена Литвинова**. Награждение лауреатов прошло 13 января 2016 года в Саратовской областной филармонии.

Произведения победителей конкурса рекомендованы к публикации в ближайших номерах литературно-художественного журнала «Волга–XXI век». В текущем номере мы публикуем цикл миниатюр Анастасии Ястребковой.

Редакция журнала «Волга–XXI век»

**Анастасия
ЯСТРЕБКОВА**

Апарт, или Мысли «в сторону»

Предчувствия. Это то, что перед чувствами?

Мысли, мысли. Куда без них. Куда с ними.

А вы до конца понимаете разницу между словами «томительно» и «утомительно»?

Когда ждать – «томительно», а когда часы ожидания проходят – «утомительно».

И что превращает первое во второе...

Не надо обременять чужую свободу. Сама носи свои камни.

*А ты живёшь и видишь мир иной,
Где краски, как и чувства, ярче,
Где сердце полыхает жарче...
Куда мне с белой моей тоской.*

Кроличья нора всегда хитрее лисьей.

*Лучше горькой мне быть, как полынь,
Если просто взяла – и сбылась.
Шалость не удалась мне, остынь...
А хотя... подожди, удалась.*

-
- Анастасия Владиславовна Ястребкова родилась в 1991 году. Окончила филологический факультет СГУ имени Н.Г. Чернышевского. Лауреат областного литературно-краеведческого конкурса, посвящённого 155-летию со дня рождения В.Г. Короленко, литературного конкурса «Поэтический ринг», городского конкурса переводов, дипломант Первого Поволжского фестиваля современного искусства. Публиковалась в журналах («Волга–XXI век», «Бег»), «Литературной газете». Автор книги стихов «Сиюминутное». Живёт в Саратове.

А иногда горизонт сходит с ума от волн на Волге.

*Я прощаюсь с вами. И надолго,
А скорее даже – навсегда.
Я загадочна и глубока, как Волга,
Но вода всего лишь я, вода...*

Когда-нибудь будет оценено всё, что было бесценно раньше.

*Прощаясь нежно и еле слышно,
Глотая скупую сырую соль,
Ты понимаешь, что было лишним,
И убираешь на антресоли.*

Что может быть лучше незапланированных встреч?
Запланированные невстречи.

Из меня постоянно торчат нитки.
Я неряшливый клубок разноцветных ниток.
И за них часто любят дёргать окружающие.

*Июнь-то я прожить смогла,
Июль прожил меня,
А в августе ночная мгла
Робела от огня.*

Нас учат.
Нам сопереживают.
Завидуют.
Помогают.
Мешают.
Нам обязательно, но что-то делают!

Я помню всё.
...Даже динозавров.

Одно из любимых занятий – наблюдать, какие ярлыки на меня вешает человек, а потом доподлинно им соответствовать.

*Если тут конец – то он не вовремя.
Если это радость – безнадёжная.
Я расколота, разбита, сломлена,
И печаль моя – неосторожная.*

Забавно, но и в плохом есть что-то хорошее.

*Я выучила грусть
По строкам, наизусть...*

Одержимость начинается с ожидания.

Не обстоятельства делают нас жестокими. И не какие-нибудь там проходимцы. А близкие.

С осенью сначала надо свыкнуться. А потом она начнёт работать на тебя.

*Только вы поверьте: всё, что было в лете,
Осень нам отправит в жёлтеньком конверте.*

Живые люди намного интереснее, чем выдуманные...

*И я своих людей чую за версту.
Хочешь – оставайся, хочешь – уходи.
Я всегда смогу заполнить пустоту.
Или пустота заполнит всё внутри.*

Иногда даже самой трудно отличить в себе безразличие от умения прощать.

*Мне нравится, что всё простое –
Намного путаней внутри.
Обиды ничего не стоят –
Сотри.*

Если тебе комфортно в путанице лабиринта, может, и не стоит искать выход?

*Мы покидали тридевять земель,
Не расцепляя наших нервных рук.
И если у тебя – моя метель,
То у меня – твои порывы вьюг.*

Если не можешь что-то объяснить себе – объясни это другим.

Собирать грабли – это как и грибы, только грабли.

*То ли грусть, то ли боль.
Жизнь-игра – 4:0.
То ли боль, то ли грусть.
0:4! Ну и пусть...*

Если летаешь, то делай это, никого не обременяя. Не вешай ни на кого свои крылья.

*Обидно, что ты не напишешь
Ни буквы, ни слова, ни строк...
Зову тебя, только не слышишь –
Шум города. Грохот и смог.*

А когда вам дарили крылья, потом отбирали небо?

Чем шире улыбка, тем больше мышцам.

Зачем быть сильной, если слабость – слаще?

Удивительно: фальшивые восторги и восклицания всегда выходят такими красивыми, метафоричными, поэтичными, а то, что идёт от сердца, – нескладным и будто даже неуместным.

*Эти дни – от ночи к ночи.
Эта жизнь – от точки к точке.
Стали фразы всё короче –
И бредут поодиночке.*

Сегодня все люди спотыкаются или падают. И дело не в моих злых флюидах, честное слово!

*Меняю угол взгляда
На жизнь. И, если честно,
Мне кажется, быть надо
Добрее. И железней.*

В сердце храни все тёплые воспоминания, но не пытайся затащить их и в голову.

*Ладони тёплые, как будто солнце им
Шептало песенку свою чуть слышно.
И мы пытаемся и бережно храним
Всё: сны, мечты и косточки от вишни...*

Хочу чувствовать острее, потому и потрошу себя всякий раз, всякий вечер перед сном.

*Снова на ночь таблетки,
Беспокойные сны,
Безнадёжные клетки
И зима до весны.*

Холодно с вами, снежные человеки...



**Анатолий
ГЕНЕРАЛОВ**

ВЕЩЕСТВО ВРЕМЕНИ

Листая дни вращения земного,
Не веря безысходности конца,
Я следую за музыкаю слова,
Что согревает грустные сердца.

Пускай всегда реальность и химеры
Неразделимы в жизненном венце,
Мне всё слышнее вечный голос веры:
«Жизнь хороша, особенно в конце...»

С небес обрушившийся грохот
Прижал к земле густую мглу –
И торопливой влаги ропот
Прошёл обильно по стеклу.

Кому сей дар?..
Слепое благо!
И от него я слепну сам.
И не хватает лишь полшага –
Доверить душу небесам.

-
- Анатолий Лукьянович Генералов родился в 1936 году в посёлке Духовницкое Саратовской области. Живёт в Саратове. Окончил технический университет (г. Йошкар-Ола) и Ленинградскую лесотехническую академию. Автор свыше 20 поэтических сборников и текстов более 70 песен и романсов. Произведения публиковались в журналах С-Петербурга: «Невский альманах», «Русское слово», «Зубрёнок», «Золотое слово»; газете «Литературный Санкт-Петербург»; в книжных изданиях «Литературной республики», антологии детской литературы «За горами, за долами», сборнике книг «Московский Парнас». Участник юбилейного сборника «Запомните нас молодыми» (Саратов). Автор книг стихов для детей: «Ветерок», «Тучкин сон». Член Союза писателей России и Союза писателей-переводчиков, обладатель ордена «Золотая осень» им. С.А. Есенина, медалей им. А.П. Чехова и А.С. Грибоедова.

ВЕЩЕСТВО ВРЕМЕНИ

Часы стоят... Не знаю, час который.
Спешу их остановку разгадать.
Как будто опоздал на поезд скорый
И надо хоть пешком, но догонять...

Но посмотрел я на живые стрелки,
Не думая, что время – вещество:
Как колесо, бегущее вокруг белки,
Так время – основательней всего...

Часы, застыв, потребовали дела.
И стал чинить я ветхое звено.
И время, размышляя, захотело
Со мною поработать заодно.

Лес крестов и мрамор на могилах.
Этот город юн и очень стар.
Я читаю надписи о милых –
И от скорби, чувствую, устал.

«Милой маме...», «Милому сыночку...»
Боже мой! Ты праведен – скажи:
Отчего нежданно ставишь точку
И скрываешь странствия души?

И куда уходят души близких,
Не расскажут смолкшие уста.
Здесь душа склоняется так низко...
Здесь слеза воистину чиста.

ВСТРЕЧА

Ветер времени в прошлое манит...
Незнакомые мне земляки!
Я приехал, чтоб встретиться с вами,
Постоять у знакомой реки.

По велению сердца и к сроку
Я приехал, чтоб с вами опять
Прикоснуться к родному истоку,
Детство чистое сердцем принять.

И чем дольше живу я на свете,
Тем родней этот берег реки!
Вас обнять я хотел бы за это,
Дорогие мои земляки.

ЛЕБЕДА

Разрумянилась к закату лебеда...
Снова вспомнил я военные года.
Лебеда, где только силы ты брала?
Нашей доброю кормилицей была.
Как спасение в ту общую беду
Приносил к обеду маме лебеду.
Кровяные эти жилочки-листы...
Может, помнишь злое времечко и ты?
На закате жгучий ал налёт.
Хоть сейчас пусть память отдохнёт.

Снежок ложится, словно холст,
Легко под ноги.
А я не знаю, сколько вёрст
В моей дороге.

Оставлю белые следы,
Пусть на минутку –
Снежок, как баловень судьбы,
По первопутку.

И каждый раз как в первый раз
В широком поле
Я слышу сердцем тихий глас
Всевышней воли.

Снегопад обильный
В тишине отвесной...
Тяжелеют крылья
У мечты небесной.

Да за горизонтом
Ангельские птицы
Пропоют о том,
Что может только сниться.

ДО СВИДАНИЯ, ЗИМКА!

Снег сошёл с пригорка,
И земля вздохнула.
Золотые пуговицы
Высыпало солнышко.

За сухой осокою –
Свежая водичка.
И ветла подсохшая –
В поволоке лёгкой.

Вот и птицы певчие
Прочищают горлышки...
И тепло, и чисто
Звуки света льются.

ГОРЛИЦА

Прилетела горлица
К моему окну.
Не поётся – холодно
Сердцу моему.

Ни письма, ни весточки –
Снег да лёд кругом.
Хорошо ли миленькой
На краю другом?

Подскажи мне, горлица,
Радости секрет,
Если песни кончились
И – подруги нет...

МОНОЛОГ БАГЕТЧИКА

Недосуг мне сетовать да хныкать,
Будто нынче времена не те...
В рамах буду конопатить стыки,
Помогать проснуться красоте.

Есть на свете ложные улыбки,
Есть на свете искренняя грусть.
Я свои давнишние ошибки
Рассудить сегодня не берусь.

Подновлю старинные картины,
Что струят из детства тихий свет,
Встречу новый день как именины...
А в ином, наверно, смысла нет.

Я люблю стихи читать и слушать.
Но, дивясь на строчки-кружева,
Хочется сначала видеть душу,
А потом – осмысливать слова...

*Редакция журнала «Волга–XXI век»
поздравляет Анатолия Лукьяновича Генералова
с предстоящим юбилеем!*



**Иван
Шульпин**

В ПОИСКАХ ХМЕЛЁВСКОЙ ФОРЕЛИ

Очерк небольшого путешествия

Однажды, теперь уже давно, в конце восьмидесятых, сидели мы с нашим земляком Константином Шиловым на скамейке в сквере дома творчества «Переделкино», беседовали. Костя к тому времени перебрался из Саратова в Москву «на постоянку» и, пока решался его квартирный вопрос, коротал время в Доме творчества на литфондовских харчах: тогда это (проживание в Доме творчества) было ещё доступно каждому писателю. Я же приехал в Москву по каким-то «текущим» делам и тоже поселился на недельку в Переделкино – уютно, сытно, дешево, до Киевского вокзала полчаса езды на электричке.

Мимо нас по Аллее Славы гордо и неспешно проносили свои шишколобые головы столичные «классики». Нет, не те небожители – владельцы дач-особнячков, а рангом пониже, завсегдатаи переделкинских «нумеров». Они могли бы творить и в кабинетах своих московских квартир, но там не было зрителей, не было этих простовато-восхищённых или завистливых взглядов, которыми провожали их сочинители-провинциалы, не было чересчур внимательных слушателей, их откровений. А в Переделкино эти самые зрители и слушатели съезжались по двадцатичетырёхдневным путёвкам со всего Союза.

-
- Иван Васильевич Шульпин родился в селе Бакуры Екатериновского района Саратовской области. Окончил филологический факультет Балашовского педагогического института. Работал учителем, корреспондентом, литературным консультантом в Саратовской писательской организации. Публиковался в журналах «Москва», «Молодая гвардия», «Созвездия», «Волга», «Новая Волга», «Волга–XXI век», в газетах «Литературная Россия», «Российский писатель». Автор нескольких стихотворных и прозаических сборников. Член Союза писателей России. Живёт в Саратове.

Некоторые из «классиков», проходя мимо, раскланивались с нами. Вернее, раскланивались с Костей. И не только потому, что он постоянно жил в Доме творчества и примелькался. Незадолго перед тем у Кости вышла в серии «Жизнь замечательных людей» книга о художнике Борисове-Мусатове. А в то время авторство в горьковской серии не проходило незамеченным. Тем более что книга Константину Шилову удалась. Да и фигура самого художника была ещё не записана.

Костя не успел остыть от работы, от хлопот по изданию, был, что называется, ещё в материале, поэтому говорили мы, естественно, о книге, о Викторе Эльпидифоровиче, о его жизни и судьбе.

В какой-то момент (видимо, мне показалось это уместным) я похвалился, что приобрёл дачный участок неподалёку от Хмелёвки, села на берегу Волги, родом из которого Мусатовы. Нет-нет, радовался я своему приобретению не потому, что меня интересовали тогда огурцы-помидоры, крыжовники-смородины. Меня к тому времени «заразили» спиннинговой охотой мои друзья – саратовские художники, я уже не первый год бороздил волжские протоки и плёсы на своём катерке, неплохо знал окрестную Волгу и то, что в ней водилось. В моём послужном списке спиннингиста уже значились полуторاپудовые сомы, десятикилограммовые щуки, судаки и жерехи на полпуда. Попадались иногда на удочки и «краснокнижные» чуда вроде стерляди или селёдки-залома...

Я мечтал о своём постоянном рыбацком стане на берегу Волги подальше от города. Мечта наконец сбылась.

И Костя, выслушав мои восторги, поддакнул:

– Да, Виктор Эльпидифорович любил навещать Хмелёвку. Ходил на этюды, рыбачил. Один из его дядьёв держал на речке Хмелёвке мельницу, там ловили форель.

Я удивился, конечно, Костиному замечанию, но всерьёз его не воспринял. Какая ещё форель в речушке Хмелёвке?! Для меня в ту пору форель – это Кавказ, где я служил в армии, где ушлая солдатня умудрялась ловить пеструшек на блёсенки, сделанные из эмблемы пограничных войск; для меня форель – это Кольский полуостров, откуда мой приятель – профессиональный рыбак – привозил громадных пятнистых красавиц; для меня форель, наконец, – это Америка: знаменитая фотография юного Хэмингуэя с нахлыстовой удочкой и двумя форельками в руках... А тут – саратовская Хмелёвка, крохотная речушка под боком у моей будущей дачи... Какая форель?!

Константин был типичным книжным, архивным жуком, далёким от рыбацких утех, вряд ли мог отличить пескаря от ерша, и я не стал ему возражать или что-то уточнять. Он с таким же успехом мог заявить, что Борисов-Мусатов ловил в Хмелёвке осьминогов на опарышей. Да и сам художник, побывавший в Европе и наверняка видевший тамошнюю азартную охоту на форелей, мог в своё время прихвастнуть: тягал из речки Хмелёвки каких-нибудь голавликов или подъязков, а воображал – форель. Тем более что в повадках эти рыбы в чём-то схожи.

Я улыбнулся про себя и забыл об этом.

В начале девяностых, с перестройкой, с новыми порядками, начался знаменитый книжный бум. Десятками возникали издательства, появлялись новые журналы, книжные развалы загрохотали улицы: на столах и полках лежали яркие, роскошные издания произведений воскресших из советского небытия Бунина, Шмелёва, Зайцева, Замятина, Набокова... Опальных Солженицына, Бродского... Православных Флоренского, Бердяева... Чуждых Ницше, Фрейда... Даже ненавистного Гитлера... Аж дух захватывало от изобилия! А рядом поползла тяжёлая и грязная лавина порнухи, чернухи, дешёвых детективов и эротических фантазий плодовитых писательниц. Аж тошнота подкапывала...

В один из таких многокнижных годов мне подарили только что вышедшее издание замечательного труда Леонида Павловича Сабанеева «Рыбы России». Иметь его мечтали все любители рыбной ловли Советского Союза. Книга была настольной у тех, кому посчастливилось владеть одним из дореволюционных – *полных* – изданий. В советское же время какому-то дубине-чиновнику пришло в голову печатать «Рыбы России» в изуродованном виде, вырезав сведения о «краснокнижных» рыбах, убрав рисунки и описания способов, орудий лова, «запрещённых» снастей. Как будто браконьеры и другие плохие ребята только и ждали, как бы научиться у Сабанеева изготовлять хитроумные ловушки и какие-нибудь безжалостно-когтистые шашковые снасти. Как будто не передавались эти знания и умения из поколения в поколение волжских и других рыбаков; как будто наши умельцы не изобретали всё новые и новые, более изощрённые снасти и способы лова, как будто описанные Сабанеевым в большинстве своём не устарели и нигде уже не применялись. Да и рыб заповедных, которых надлежало таким образом особо охранять от хищников, почти нигде уже не осталось.

Я из принципиальных соображений даже не пытался приобрести советское искалеченное издание книги Сабанеева.

А когда получил в руки настоящее, полное, прочитал его не отрываясь, с упоением.

И как же я поразился, когда на одной из страниц главы «Форель» прочитал набранную петитом авторскую сноску: «Форель встречается во многих речках и проточных озёрах Финляндии, Петербургской губ., именно в окрестностях Гатчины (р. Ижора, Оредж, Верава) и в речках Ямбургского уезда; в р. р. Тикше и Сарпе, впадающих в Оять, в Олонецкой губ. (и в некоторых других), во многих речках Новгородской губ., в р. р. Белой и Щеберихе Тверской губ. Довольно обыкновенна форель в Остзейских и северозападных губ., напр. в Кованской губ. (Тельшевского у., речки Бобрунка и Миния, напр.), Гродненской (Слонимский и Кобринский уезды); также, по-видимому, и в Витебской (р. Далысица Невельского у.). Как кажется, она встречается в лесных речках Пошехонского уезда Ярославской губ., в мелких притоках Костромы, в речке Нерехте Владимирской губ., и несомненно водится в родниковых лесных речках Казанской губ., впада-

ющих в Каму, в верховьях некоторых притоков Свияги, в Сенгелеевском уезде; в Городищенском у. Пензенской губ., в р. Айве и Вишнянге и других речках верховьев Суры; в Ардатовском уезде, в р. Желтушке, где её зовут царской рыбой, также в верховье притоков Сызрани и в других речках, впадающих в Волгу с правой стороны, в Симбирском и Сенгелеевском уездах; наконец, в р. Хмелёвке Саратовской губ.». ».

Вот тогда-то я и вспомнил наш разговор с К. В. Шиловым на скамейке в Переделкино. Прав был старый книжный и архивный жук: мог художник Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов ловить форелей в Хмелёвке! Ещё одно подтверждение тому: первое полное издание книги А. П. Сабанеева вышло примерно в те же годы, когда художник наезжал в гости к родственникам, то есть форель там водилась в то время точно.

С тех пор меня стало занимать уже другое. Первое: откуда, как попала форель в Хмелёвку? Второе: как она умудрилась «дотянуть» там до конца девятнадцатого и почти наверняка до начала двадцатого века? И последнее, третье, для меня самое интересное: почему эта древняя, реликтовая рыбёшка выбрала именно ничем не примечательную речку Хмелёвку? А точнее, даже не речку – ручей. Ведь таких речек-ручейков только в Саратовской области, какие и теперь сбегают в Волгу с нагорного правого берега, сотни! Почти на каждом километре. Да что говорить: по подсчётам краеведов, только по территории современного Саратова их протекало четырнадцать-пятнадцать. Если бы из великого множества этих речек по всей Волге хотя бы в каждой сотой или даже двухсотой водилась форель, вряд ли бы Сабанеев обратил внимание на захолустную Хмелёвку и уж, во всяком случае, не стал бы выдавать наличие в ней форели за исключительную редкость. А ведь он подчеркнул этот факт: «...наконец, в р. Хмелёвке Саратовской губ.». Выделив тем самым её особенность. Ещё надо отметить, что перед тем в книге Сабанеевым сказано о форели весьма определённо: «...очень редка в притоках собственно Волги».

Ответом на первый вопрос – откуда и как появилась форель в Хмелёвке – привычно приходит на ум: занесли на себе икру форели птицы. Да, можно было бы допустить такое, если бы не некоторые нестыковки. Большинство водоплавающих птиц ко времени нереста форели (октябрь–ноябрь в наших местах) уже успевают убраться на юг. И ещё чисто «техническая» деталь: свою клейкость икра форели сохраняет всего несколько часов, то есть птицы должны были буквально «принимать роды» у форели, чтобы получить клейкую икру. И главное: форель в ближних и не очень дальних водоёмах, как уже сказано, не водилась, при «транспортировке» же из дальних, при многочасовом перелёте, икра непременно успела бы заветреть и погибнуть.

Могли, конечно, запустить форель в мельничные запруды и предки генерала Шахматова, у которых в Хмелёвке было имение. Запустили на потеху, на ловлю «как в Европах», и форель прижилась. Запу-

скали же помещики в свои охотничьи уголья фазанов и прочую диковинную дичь. Но, исследователь очень внимательный и точный, Леонид Павлович Сабанеев не преминул бы указать, что форель запущена в Хмелёвку человеком, то есть она не естественного происхождения. А искусственно в помещичьих родниковых прудах по России выращивали не только форель, но и стерлядей, и осетров. Форель такого происхождения вряд ли заинтересовала бы Сабанеева.

Мне кажется, что убедительнее выглядит предположение, что форель в Хмелёвку пришла «своим ходом». Нередкими зимними половодьями, случающимися повсеместно во время длительных оттепелей, молодь форели, ещё не окрепшую, выбивало из верховий уже названных рек, она в конце концов попадала в Волгу, часть её докатилась и до Хмелёвки, самой нижней, по Сабанееву, черты её распространения. Докатилась и прижилась.

Но прижиться-то прижилась, а как она могла (вопрос второй) выжить, «дотянуть» до двадцатого века в крохотной речушке, где ей и спрятаться-то надёжно было негде? Почему её не выловили до последней, не перевели? Как это, без сомнения, сделали бы в наше время. Ответ тут, по моему разумению, один. В Волге в те времена водилось столько всяческой рыбы – от царской белорыбицы, белуги, осетра, стерляди до простонародной селёдки-залома и пузанка, – что серьёзным рыбакам было недосуг гоняться за быстрой и в общем-то небольшой рыбёшкой – ручьевого форелью. А у вездесущих ребятишек, чтобы её извести, не хватало сноровки и снастей. И заезжих утончённых рыболовов-спортсменов, вроде оевропеившегося в этом смысле художника Борисова-Мусатова, интересовал не улов, а сам процесс охоты. Вот и жила себе поживала рыбка-пеструшка в речке-невеличке.

И тут приходит очередь третьему, для меня самому интересному вопросу: почему форель «прокатилась» мимо столько рек и речушек и выбрала именно Хмелёвку? Может, это, как говорится, чистой воды случайность? Может, если продолжить игру словами, именно чистая, какая-то особенная вода Хмелёвки и привлекла, заманила форель? А может, кроме воды, были ещё какие-то условия, отличавшие нашу речку от множества других?

Обычно длина речек, подобных Хмелёвке (из знакомых мне), – пять-десять километров. Где-то чуть меньше, где-то чуть больше...

(Занятно. На таком же расстоянии от Волги проходит в наших краях водораздел великой реки с Доном. Так, сельцо Колотов Буерак, расположившееся у истока речки Хмелёвки, можно смело считать волжским, а разъезд Ивановский, находящийся за бугорком в четырёх километрах западнее, стоит у истока речки Горючки, направляющей свою водичку уже в Дон. Так что правобережная половина жителей Саратовской губернии, гордо именующих себя волжанами, таковыми ни по каким статьям, кроме административной, не являются. Они – донские. А вот степняки и пустынножители левобережья – самые что ни на есть волжане, так как даже отдалённые их селения привязаны к Волге витыми верёвками Иргиза, Карамана, Еруслана, Лизели и прочих рек и речушек.)

Итак, длина правобережных речек пять-десять километров, а высота гор, водораздела, двести пятьдесят-триста метров. Нетрудно высчитать средний «угол падения воды» – около 2 градусов, то есть речки эти очень быстрые, под стать горным, любимым форелью.

Начинаются речки, подобные Хмелёвке, родниками и пополняются на своём недолгом пути родниками же. Осенью они прибывают от весьма частых у нас дождей, что, несомненно, способствовало бы подъёму форели в самые верховья на нерест. Вода в них круглый год холодная, но даже в крепкие морозы на порожках и под небольшими водопадами не замерзает. Так что водный режим и качество воды этих речек тоже должны были устраивать форель.

Русла свои речки и ручьи правого берега проточили в опоках, в которых есть слои как бы обожжённые, прочные как камень, поэтому берега не оплывают и русла не заиливаются. А попадающиеся в опоках россыпи неразрушающихся чёрных катышей (фосфоритов) хорошо справляются с ролью гальки, так необходимой форели. И по этой части речки наши угодили бы вкусу привередливой рыбки.

Берега крутых и глубоких «каньонов», по дну которых бегут потоки, обрамляют деревья и кустарники, затеняют русла, с них в воду падает множество насекомых, а это основной корм форели. Выходит, и стол был для неё уготован богатый...

Даже из беглого моего описания видно, что все речки и ручьи правого берега Волги в наших краях примерно одинаковы и «условия проживания» в них для форели, на мой человеческий взгляд, были вполне подходящи.

Тогда чем же всё-таки объяснить, почему форель из многих и многих речек выбрала именно Хмелёвку?

Моих «теорий» было явно маловато, чтобы ответить на этот вопрос.

Я решил перейти к практике – собрался промерить пешком речку Хмелёвку от истока до устья, решил присмотреться внимательно, повоображать, какой могла быть речка Хмелёвка сто лет назад в тех местах, где я буду идти, какими были сами эти места. А вдруг мне повезёт, и я открою тайну, известную когда-то только форели.

Перед походом я заглянул на всякий случай в карту, ещё советскую, явно «сдвинутую», чтобы одурачить тогдашних шпионов, но очень подробную. Километрах в двух от Ивановского был обозначен пионерский лагерь, а неподалёку от него – родник. От символа родника тянулась тоненькая ниточка – ручеек, начало речки Хмелёвки.

Туда я и направился.

В придорожной лесополосе я выбрал себе в попутчики суковатую крепкую палку и пошёл в сторону пионерлагеря. Его найти для начала, казалось мне, было проще, чем родник.

Но никаких строений в указанном месте я не обнаружил. Советская карта! После долгих блужданий по старой, разрушившейся, какой-то «сталкерской» берёзовой роще я набрёл наконец

на остатки фундаментов, кучки краснокирпичной крошки и длинную глубокую траншею – «добытчики-металлоломщики» выкопали стальную трубу, по которой в лагерь поступала когда-то вода.

И всё это: непролазный бурьян, битый кирпич, старые пообломанные берёзы, изуродованная шрамом траншеи земля – тоскливо легло на сердце. Какая форель, старый ты дурак, какой хрустальный родник? Его наверняка давно испоганили, а то и умертвили «любители природы», «пикникщики», которые, нажравшись на свежем воздухе, оставляли рядом свои огрызки, пили «полезную» для их утробы воду, а потом этой же водой тут же намывали своих ненаглядных железных лошадей... Сколько таких обезображенных и даже мёртвых родников я видел!

(Занятно. В молодые годы выехали мы однажды небольшой литературной компанией на Волгу, на рыбалку. Расположились таборком на берегу заливчика между Синенькими и Пудовкином, на месте уже не существовавшей деревни Несветаевки. Жили в маршрутных геологических палатках-«крокодильчиках»: с кожаным пузцом (чтобы не подмокало даже на сырой земле), с низкими потолками («ходить можно только лёжа»). Хозяином палаток был Александр Николаевич Шулепин, в ту пору просто Саша, а между своими – Шурака, по университетскому образованию и по профессии – геолог, геодезист, по увлечению – писатель, как все мы тогда. Жили весело: рыбачили, бродили по окрестным лесам и заброшенным садам, раза два в неделю ходили в Пудовкино, в сельповский магазинчик за продуктами, прикупали заодно и красного болгарского вина «Тырново» – ничего другого из напитков там не было. Вино мы разбавляли холодной родниковой водой. В жару, стоявшую тогда, пить его было наслаждением. Родник находился на подороге в магазинчик, километрах в двух.

Однажды идти за продуктами очередь выпала нам с Александром Николаевичем. На обратном пути мы не устояли перед искушением выпить разведённого вина досрочно, прямо у родника. Заслужили, ходоки всё-таки!

Геолог аккуратно снял часы, положил их в нагрудный карман рубашки-распашонки, помыл руки, ополоснул лицо и наклонился к роднику пригубить водички. Часы выскользнули из кармана и, блеснув стальным браслетом, ушли на дно, исчезли в его мягком осадке. Александр Николаевич снял рубашку и попытался достать часы рукой – не тут-то было! Коротковата оказалась рука. Сломал самую длинную из росших рядом тростин, метра в полтора, опустил отвесно в родник – тоже коротка... Я предложил сходить в ближайший лесок за хворостиной.

– Знаешь, Бог с ними, с часами. Родники не любят, когда их тревожат. Мы сейчас взбаламутим его палкой, он сутки потом не успокоится. Часы хворостиной вряд ли мы найдём и достанем. А за водой люди могут прийти в любой момент.

Прозвучало убедительно. Однако геолог добавил:

– Тем более что это не родник, а колодец. Из родника вода вытекает и постоянно освежается, а из колодца её только вычерпывают, поэтому любое взмучивание воду портит.

Только после его слов я осознал, что родник наш заключён в почерневший деревянный сруб, над землёй, над мелкими камушками выступает лишь половина верхнего венца. Вода в колодце стояла почти вровень с краями, но через венец не переливалась.

Я изрёк свою филологическую версию:

– Родник – родит воду. Колодец – кладезь – копит и хранит воду.

Моя этимология хоть и выглядела доморощенной, но суть передавала точно. Геологу она понравилась. Мы выпили за родники, потом за колодцы.

О часах Александра Николаевича в рыбацком таборе вспоминали, только когда нужно было принести питьевой воды. Говорили очереднику: «Сходи, дружок, узнай, который час»).

Родник возле пионерского лагеря я всё-таки нашёл, хотя и не так уж рядом, как обещала карта. Он оказался жив и, возможно, даже здоров, ибо находился на дне глубокой лесистой впадины, куда нельзя было подъехать на транспорте и где на крутых склонах неудобно стелить скатерти-самобранки. Слава Богу! Я даже выругал себя слегка за преждевременное брюзжание.

Почти у самого родника начиналась узкая глубокая промоина с отвесными берегами. Чуть дальше она становилась таким же крутобоким и ещё более глубоким оврагом, на обрывистых берегах которого каким-то чудом держались, росли стройные, высокие (тянулись к свету) деревья. Они только усиливали ощущение глубины этой «пропасти». Потом я узнал, что местный народ метко окрестил это ущелье «трубой». Проточить такой «каньон» нынешний родник с его малым «дебетом» не мог. Значит, когда-то, во времена Борисова-Мусатова и раньше, родник был более сильным и питал речку Хмелёвку ещё щедрее.

Так как способности к скалолазанию мной уже утрачены, мне пришлось спуститься на дно «трубы», ноги, обутые в лёгкие кроссовки, в первые же минуты окоченели. Вода была та самая, «форелевая», ледяная, как в знакомых мне горных кавказских речках. Потеплеть она и дальше не могла, ибо надёжно была укрыта от солнца сомкнувшимися над «трубой» кронами.

Рискуя заработать простуду, я всё же дошёл по воде до тех мест, где, хоть с трудом продираясь сквозь заросли, можно было идти уже по бережку ручья.

Странно всё-таки устроен человек. Скользя вниз по тем самым чёрным катышам-фосфоритам, перелезая через завалы из подгнивших и рухнувших деревьев, я знал, конечно, был уверен, что никакой форели я на такой высоте и крутизне не встретил бы, даже путешествуя по Хмелёвке во времена Борисова-Мусатова, но всё-таки почти с первых минут начал невольно вглядываться в бочажинки под малыми водопадами, в небольшие запруды из старых веток и листьев. Вглядывался и ждал: вдруг да метнётся быстрая тень под корягу или нависший над водой обрывчик... В детстве, в том возрасте, когда мы начинаем сознавать, что все люди смертны, мы всё же ещё долго продолжаем втайне надеяться: да, все умрут, а я нет. Вот и я, хоть дожил до седых волос, в душе так и остался ребёнком: во всё время моего

путешествия по Хмелёвке украдкой от самого себя надеялся на чудо, хотел увидеть форель. Или хотя бы быстрю тень от неё...

По ходу спуска моего по ручью стали попадаться места, где вода сочилась из берегов, мочажины, слабые их струйки пополняли ручей. Такие места безошибочно угадывали кабаны и устраивали в них свои ванны – вальница. Деревья возле этих ванн чуть ли не на метровую высоту были оштукатурены светло-серым илом: кабаны тёрлись после грязевых процедур о деревья боками.

Я ещё раньше, блуждая по одряхлевшей берёзовой роще и окрестному дубовому лесу, обратил внимание на то, что вся лесная подстилка была перепахана свинными рылами. Насытившись там, кабаны приходили к ручью попить и принять грязевые ванны. Довольно часто попадались в лесу и «ореховые» кучки лосиного и оленьего помёта. Лес и распадок были, судя по всему, плотно заселены зверьём. И вскоре оно заявило о себе: где-то высоко над моей головой, на берегу оврага прогремел оглушительно и хрипато, как пионерский горн в неумелых руках, рёв оленя или лося. Потом ещё и ещё. Рёв этот заканчивался как бы выдохом, долгим и мощным. Если честно признаться, я малость даже струсил. Я знал понаслышке, что осенью у лосей и оленей гон, и самцы бывают в это время агрессивными. И хоть я соперник им теперь уже никакой, но кто их знает, что у них в рогатых головах! Затопчут ещё, забодают в любовной ярости. Я даже невольно стал присматриваться к деревьям, выбирать посучкастее, чтобы в случае нападения вскарабкаться на них.

До чего же всё-таки непривередливо, уживчиво наше зверьё! В небольшом, в сущности, лесистом распадке, совсем недалеко от загруженной федеральной автотрассы, рядом с пусть и не очень обременённой железнодорожной веткой оно живёт, размножается. Как бы к месту была в этом «диком» уголке хмелёвская форель!

Я поспешал от греха подальше, а обладатель «пионерского горна» ещё какое-то время сопровождал меня, невидимый, и оглашал лес рёвом и громким выдохом...

Сказка моя, моё путешествие по нетронутой с борисово-мусатовских времён Хмелёвке закончилось неожиданно, как неожиданно заканчивается всё хорошее. Передо мной из крохотной запруды торчал весёлый голубой моторчик, почти неслышно крутивший водяной насос. От него в заросли уползали, как бикфордовы шнуры, провод и тонкий пластиковый шланг. На другом конце проводов, за зарослями кустарника, полыхнул ярко-красный металлопрофильный забор. Дачи...

И как же всё это: насос, провода, несуразно яркий забор – выглядело нелепо, оскорбительно в укромном, урёмном, как мне только что казалось, уголке!

Ошарашенный открывшимся, я даже не заметил, как ноги мои сами по себе нащупали тропинку на берегу ручья; она вскоре перешла в автомобильную двухколейку, которая вильнула в дачную улочку...

Но я продолжал идти по руслу ручья, хотя уже понимал, что ничего хорошего впереди меня не ожидает.

И действительно, вскоре я оказался у небольшого прудика с бетонной литой плотинкой – прямо-таки какая-нибудь Шушенская или Братская ГЭС в миниатюре. На берегу прудика стояла водонасосная будка. Ну что, прощай, речка Хмелёвка? Ведь если вода из прудика идёт на полив дачных грядок, то вряд ли слабый ещё ручей осилит переполнить запруду и продолжить свой путь дальше. Я, признаться, приуныл.

Но бетонная плотинка, при всей её кричащей неуместности, была всё же устроена так хитроумно, что где-то внизу под своим телом пропускала воду, и ручей продолжал журчать дальше, хотя уже и не так внятно, как до плотины. Но мне и этого было достаточно: жива, жива моя речка!

Я опять, уже радостно, зашлёпал успешными отогреться ногами вниз по ручью, ибо по берегу, хоть и не такому теперь крутому, идти было невозможно – прямо к ручью спускались изгороди дачных участков.

Однако тихой радости моей хватило только на сотню-другую метров. Она исчезла мгновенно, вместе с речкой Хмелёвкой, только что, казалось бы, воскресшей. Я стоял на обрывистом, ещё не оплывшем берегу котлована, грубо вырытого прямо в русле ручья каким-то мощным снарядом. Ведь надо же было умудриться притащить сюда экскаватор или какую-то иную землечерпалку! Весь выбранный грунт был свален чуть ниже котлована и образовал безобразную кучу-плотину, которая обросла дремучим бурьяном. За плотиной русло было уже абсолютно сухим, хотя и сохраняло ещё свои чёткие очертания.

По пути, накатанному когда-то водой, идти теперь было легко, хрустели камешки, поскрипывал песок, ноги мои уже не обжигало холодной водой. Но я этому не был рад...

Миновав в конце распадка ещё одну преграду – насыпную дорогу через уже безводное русло, я оказался в широком сухом долу и оглянулся. Теперь, снизу, мне хорошо были видны оба лесистых склона «трубы», по которой я только что прошёл. На выходе из неё, в самом раструбе, по обоим скатам из леса выглядывали разноцветные крыши дач. Удивительно красивое место! Такие места у нас принято называть «маленькой Швейцарией». Но стоило ли застраивать дачами часть уже редкого по нынешним временам уголка, где ещё теплилась настоящая дикая жизнь, если совсем рядом столько свободной земли? Вопрос праздный... Красота, явленная в человеке или природе, всегда притягательна. Но она притягивает к себе не только умилённых созерцателей, но и натуры деятельные и хищные. Красота страдала, страдает и будет страдать от нашего вероломства.

Широкий суходол, в котором я очутился после «трубы», оказался ложем когда-то просторного пруда. Об этом говорила большая старая плотина, к ней я пришёл по иссохшему, уже еле приметному руслу

Хмелёвки. Судя по тому, как донные отложения выровняли рельеф суходола, водоём этот существовал долгие годы. Я гадал: как и куда могла исчезнуть из него вода? Плотина была цела, по ней проходила наезженная дорога; следов «ухода» пруда не было видно. Может, пруд высох из-за того, что речка Хмелёвка, перехваченная дачниками, перестала подпитывать его? А может, воду потратили на полив знаменитых хмелёвских садов? Могло быть ещё и такое: воду «перелили» в новую запруду, которую возвели ниже, у самой околицы совхозного посёлка, для удобства, а старую плотину потом поправили, чтобы сохранить дорогу. Про тот новый пруд я слышал от многих рыбаков, успешно там удивших. Встреча с ним была впереди. А сейчас я покидал пруд исчезнувший и ничуть о нём не жалел. Он был творением рук человеческих, эти руки, скорее всего, и ликвидировали его за ненадобностью или надолго оставили без ухода и присмотра. Жаль мне было пропавшую речку Хмелёвку, с которой успел уже сродниться за время недолгого нашего знакомства.

Сразу же за плотиной опять начинался лесистый овраг, почти такой же крутобокий, как и «труба», только более широкий. По дну его, похожее на степную песчаную дорогу, проходило сухое русло уже не малого ручья, а небольшой речки. Видимо, след этот оставила вода, когда-то хлынувшая из «сбежавшего» пруда. Она замыла илом и песком древнее каменистое русло Хмелёвки. По склонам и берегам оврага росли столетние дубы, стройные клёны и липы. Они-то наверняка помнили хрустальную речку, журчавшую в их тени, и перламутровую форель в её струях. Мне же оставалось только воображать эту райскую картину.

Удобное хождение по песчаной дороге кончилось тем, что я упёрся в непролазные заросли кустарника, перевитого колючим ежевичником. Продираться сквозь них было тяжело, да и не имело смысла. До устья Хмелёвки, до Волги, было ещё далеко, и силы мне стоило приберечь.

Я поднялся на берег оврага и какое-то время шёл по уже подсохшему осеннему, местами выкошенному лугу, по которому там и сям стояли кряжистые, разлапистые дубы. После оврага было удивительно просторно: по горюшкам рыжели низкорослые лесочки, далеко внизу сквозь лёгкую дымку посверкивала Волга, испятнанная сизыми тенями островов. Идти было легко, и я, видимо, увлёкся, ибо, когда опять спустился в овраг, меня там ожидало чудо: дно оврага превратилось в широкое болото, по которому бежало сразу несколько ручейков, кое-где росла даже осока, а вместо дубов в небо уходили неохватные вётлы и ольхи. Почему я не сообразил раньше, что заросли кустарника и ежевичник, преградившие мне дорогу, были верными вестниками недалёкой воды?..

Я не мог пропустить места, момента второго рождения, второго пришествия речки Хмелёвки. Я повернул назад, вверх по течению ручейков, и дошёл до нового истока. Ключей было несколько, они били из-под склона оврага и из-под корней огромных вётел. И опять я, пробираясь по мочажине, то и дело натывался на вдавленные в болотистую почву следы кабанов...

Как же терпелива и немстительна наша природа! Вопреки насилию, издевательствам и даже глумлению над ней, она снова и снова возрождается, пытается залечить, загладить раны, которые мы ей наносим, и опять старается порадовать нас своей первобытностью.

И уже запела моя душа, и уже начала проклёвываться мысль, не только мне принадлежащая, ставшая уже привычной и даже пошлой: вот так и Родина наша – дайте ей только передышку, оставьте хоть на короткое время переделки, перестройки, переломы – и она очистится, окрепнет, возродится во всей красе и силе...

Высокопарные мысли мои на самой патетической ноте превали треск трёх выстрелов из карабина. Звук этот я не перепутаю ни с каким другим. Стреляли где-то неподалёку. После недолгого собачьего рёва и некоторой паузы хлопнул четвёртый выстрел. И я чётко представил картину происходящего там: крутые краснорожие (распалились в охоте) мужики, разодетые в камуфляжи и вооружённые до зубов, выследили кабана или лося и пристрелили сразу из нескольких стволов. Потом следом за собаками подбежали к уже беспомощному зверю и трусливо сделали контрольный выстрел...

Я поспешил убраться из оврага и уже не спускался вниз до самого пруда. Пуля, выпущенная из карабина в лесу, шальная, пострашнее разъярённого гоном оленя или лося, от неё на дереве не спрятаться.

При всей моей склонности к выдумыванию, в описании своего «хоженья» по речке Хмелёвке я ничего не сочинил, не выстроил в умышленном порядке. Поэтому рассказ порой теряет необходимую динамичность и завлекательность. Говорю это не в оправдание своей литературной неловкости, но лишь для того, чтобы подчеркнуть – всё так и было: короткая радость моя всякий раз скоро сменялась разочарованием и даже обидой, а то и испугом. Всё это: «сталкеровская» роща и явившийся мне живой родник, любовный рёв оленя, грязевые ванны вальжных кабанов и строительство бетонных плотин, рытьё безобразных котлованов, сухое русло и новые родники и эта вот наглая стрельба из грозного оружия среди бела дня около обсиженного рыбаками пруда, – всё это есть, происходит ежедневно или, точнее, может произойти в любой день, всё это нынешняя жизнь речки Хмелёвки, в хрустальных водах которой резвилась когда-то перламутрово-пёстрая рыбка форель.

Реки, речки и речушки теряются, исчезают не только в жарких пустынях и сухих степях, как, скажем, среднеазиатские Аму-Дарья и Сыр-Дарья или наши саратовские Узени. Они пропадают и в водах морей, озёр и более крупных рек. Вот и речка Хмелёвка, пока я опасно пробирался сторонкой от «стреляющего» оврага, успела кануть в полноводном красивом пруду. Северный крутой берег его занимала просторная «парковая» дубовая роща, а южный солнечный опушили заросли тростника и рогоза. Зеркало пруда было чистым, не тронутым ряской и «русалочьим волосом», как это бывает в мелких протрех водоёмах. Водная гладь местами очень густо рябила кружоч-

ками, как во время дождичка. Это плавилась рыба мелкота. То тут, то там слышались всплески с характерным чмоканьем, и малёк разлетался веером. Охотился окунь. Иногда на поверхности воды цепочкой лопались крупные пузыри – «перепахивал» дно карась или карп.

Кое-где из прибрежных зарослей высывались концы удилиц и поблёскивала паутина лесок. Я подошёл к одной из рыбацких засидок, чтобы справиться об улове и заодно передохнуть.

– Какой там улов!.. Так, время убить, – неохотно ответил солидный дядя, хозяин трёх великолепных удилиц и старенькой «Волги», стоявшей неподалёку. И замолчал.

Я заглянул в пластиковое белое ведро: там плавали с пяток линьков больше ладони величиной. Рыбак оказался пессимистом или уж очень избалованным. Другой на его месте был бы рад-радёшенек такому улову.

– А когда-то в Хмелёвке форель водилась, – попытался я подсушить ему тему для разговора.

– Когда-то... Когда-то у нас и ихтиозавры водились...

И опять замолчал.

Со знанием дела он так ответил или ляпнул наобум, лишь бы отвязаться от меня, назойливого, но ихтиозавры в наших краях и вправду когда-то водились. У меня в ящике письменного стола хранился чёрный окаменевший позвонок доисторического существа, несколько похожий на старинную чернильницу-непроливашку. Я нашёл много лет назад два таких позвонка неподалёку от Хмелёвки, рядом с рыбацким посёлком Беленький. Если бы время позволило тогда покопаться в береговой осыпи повнимательнее, я наверняка нашёл бы и ещё что-нибудь. Но я в тот момент торопился и не стал заниматься поисками, о чём до сих пор жалею. Один позвонок я из праздного любопытства расколол. Внутри его, к моему удивлению, сохранилось что-то вроде структуры сахарной кости. Я показал расколотую окаменелость знакомому работнику краеведческого музея. «Рептилия, ихтиозавр», – определил он и добавил какое-то мудрёное латинское название.

Рыбак, заметив, что я не тороплюсь уходить, привычно запричитал:

– Форель... Тут и эту, какая есть, рыбёшку, гляди, потравят. Один раз уже морили. Неподалёку работали то ли геологи, то ли изыскатели и упустили какую-то дрянь. Вся рыба вверх брюхом всплыла. Возами вывозили. Караси – и те передохли. А то – форель, форель...

Да, я тоже слышал когда-то об этом происшествии от других рыбаков, но подзабыл. А теперь вспомнил, а заодно вспомнил ещё раз нашего геолога Александра Николаевича. И подумал с гордостью: уж он-то не допустил бы такого преступного разгильдяйства, он был иной закваски, как и многие люди в то время... Подумал так и осёкся. Про иную закваску я, пожалуй, лишку загнул. Люди во все времена относились к своим обязанностям перед природой по-разному. Одни в меру сил оберегали её, другие хищничали или просто относились наплевательски...

(Занятно. Через несколько дней после происшествия с часами Александра Николаевича мы всей рыбацко-литературной компани-

ей пошли в Пудовкино, чтобы «затовариться» как следует и устроить прощальную вечеринку. Ещё на подходе к роднику стали подтрунивать над геологом. Одни предлагали ему нырнуть за часами, другие советовали установить табличку: «Родник с часовым механизмом». Подойдя же к роднику, дружно примолкли: вокруг него белело с поддюжины ляпух уже подсохшего и растрескавшегося ила. Гадать не приходилось – кто-то «добывал» часы Александра Николаевича. Загадкой было только то, каким таким инструментом это делалось. Уж больно одинаковыми и аккуратными гляделись ляпухи, будто их специально формовали. Вода в роднике хоть и отстоялась уже, но имела лёгкий жемчужный оттенок.

– Её пить-то можно? – спросили геолога.

– Ничего страшного, – успокоил он, – это взвесь мела. Она долго держится. Колодец хорошо почистили, и то польза.

Продавщица, которой мы первой когда-то рассказали об «утоплении» часов, теперь, мне показалось, немного смутилась:

– Да наши деревенские промыслили.

Услыхали (от неё же, от продавщицы!), взяли черпак, которым мотыля в пруду намывают, и достали часы. Говорят, они ещё тикали.

– Пыле- и влагонепроницаемые! – с гордостью заметил геолог.

Потом ему долго ещё напоминали:

– А часики-то ваши, Александр Николаевич, ещё тикали...)

Другой рыбак, к которому я заглянул, оказался оптимистом. При моём упоминании о хмелёвской форели заявил:

– Может, она и теперь тут водится. Да попробуй её поймай в таком море!

При всей фантастичности, это предположение было мне ближе и желаннее причитаний первого рыбака; но я почему-то вспомнил об ихтиозаврах...

Плотина «нового» пруда – произведение, скорее всего, советского, совхозного времени. Вряд ли хмелёвские мужики борисово-мусатовской и даже более поздней поры могли с их заступами и телегами осилить такое сооружение. Хотя, как знать, древние египтяне голыми руками вон какие махины возвели! Да и наши эки тачками и теми же лопатами перемещали целые горы... В пользу советских, индустриальных времён говорит и надёжный водосброс: в плотину встроена мощная стальная труба, подходы к ней с обеих сторон выложены бетонными плитами.

Я был на речке Хмелёвке в ещё сухое время, однако вода по трубе вытекала из пруда довольно резвым потоком. Выходит, родники пополняли пруд достаточно, чтобы речка Хмелёвка, исчезнувшая было в обширном водохранилище, могла продолжить свой путь к Волге. Конечно, вода на выходе из пруда уже не была той родниковой, хрустально-ледяной, она прошла «обработку» прудовой растительностью и живностью, приобрела новые вкус и запахи, и вряд ли теперь, даже случись такое, заманила бы в своё русло привередливую форель.

Сразу же за плотиной вытянулась улица совхозного посёлка, застроенная в начале своём многомиллионными особняками уже нынешнего времени. (Красота притягательна, как уже было сказано!) Потом, ещё километра два, до асфальтовой дороги Саратов–Красный Текстильщик тянутся двухквартирные «коттеджи» и отдельные домики советской застройки. Все они, и большие, и не очень, своими задами-огородами, сараями, конюшнями и банями спускаются к речке Хмелёвке, используют её воду для хозяйственных нужд, в неё же возвращают отходы. Думаю, что центральной канализации в бывшем совхозе нет, а если даже и есть, то конюшни и бани к ней не подключены.

Наверняка добавлял свои «ароматы» в речку Хмелёвку и ныне разорённый вино-консервный заводик, корпуса которого прячутся в лесу правого берега.

Речка Хмелёвка повторяет, к сожалению, судьбу всех нынешних рек и речушек, протекающих по заселённым местам. В начале же двадцатого века, когда в Хмелёвке ещё водилась форель, на месте совхозного посёлка, вероятнее всего, были лес или покосы хмелёвских мужиков.

Поднырнув через очередную трубу под насыпь дороги, речка падает двухметровым водопадом в свою предустьевую пойму. Пойма уже настолько широка и ровна, что по ней нарезаны действующие и заброшенные огороды, а сама речка, уступая им место, скромно жмётся к крутому левому берегу, на ней настроены мостки и мостики для набора поливной воды.

Скорее всего, пойма образована и выровнена когда-то полноводной запрудой. Плотина её сохранилась до сих пор. Правда, она уже не задерживает воду, а служит дорогой, соединяющей старинное село Хмелёвка. Видимо, вода этой запруды и крутила когда-то жернова мельницы, принадлежавшей дяде художника. В пользу этой версии говорит и местами сохранившаяся мостовая на крутом взвозе левого берега, выложенная диким камнем. Ширина мостовой – ровно под телегу. По ней и возили хмелёвские мужики зерно на мельницу, а с мельницы – муку.

Пойму в самом устье реки, по причине её непроходимости, мне пришлось обойти по высокому берегу, по селу. Где-то тут, наверное, стоял когда-то дом дяди художника: недалеко от мельницы, куда между занятиями живописью ходил поохотиться на хмелёвскую форель Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов. Говорят, что он, несмотря на все свои телесные недуги, был по-мальчишески увлекающимся и азартным.

Потом я сидел, отдыхал на полого уходящих в Волгу бетонных плитах, которыми местные рыбаки выстлали берег, чтобы удобнее было вытаскивать лодки. Рядом, в зарослях тростника и чакана, укромно, как бы стесняясь своей непервозданности, отдавала Волге свою многострадальную водицу речка Хмелёвка.

Мой шагомер зафиксировал около двадцати тысяч шагов. Их я сделал за неполный осенний день. Но я пока ещё не чувствовал усталости. Не жалел я и о потраченных силах и времени. Да, я не нашёл той изначальной, полноводной, хрустальной речки Хмелёвки, в которой ловил рыбу художник Борисов-Мусатов. Не увидел я и не мог увидеть хмелёвскую форель, о которой упоминал Сабанеев. Слишком переменялась жизнь вообще и жизнь отдельно взятой речушки. Но каким-то дошедшим до меня из древности чувством я ощутил и ту жизнь, и ту речку Хмелёвку, принял их в себя, породнился с ними.

Была только пока ещё не осознанная во всей глубине печаль.

Я прошёл по речке Хмелёвке сверху вниз, по течению, повторив путь покатной, уже отметававшей икру, отлюбившей форели. Древние мудрецы подметили: «*Omne animal triste post coitum*». Эта печаль, возможно, каким-то загадочным образом и передалась мне...

Но это, скорее всего, уже мои выдумки, без которых я хотел было обойтись в очерке.

К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА



**Вячеслав
ЛЮТЫЙ**

«ПРОВИДЕНЦИАЛЬНЫЙ СОБЕСЕДНИК»

ЯСНАЯ РЕЧЬ В ПОЭЗИИ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

Поэтическая речь Осипа Мандельштама в представлении современного читателя выглядит противоречиво.

С одной стороны, сегодня нас чрезмерно насытили текстами умозрительными, в которых личные ассоциации автора во многом являются главным акцентом художественного сообщения, где контекст эпохи угадывается только приблизительно. Попутно в круг чтения едва ли не галдящей толпой ворвались строки «концептуальные», в которых предметы схвачены почти случайным образом, зато социальная адресация и хронологическая обозначены куда как лапидарно. «Тёмные речи» иных поэтов нашего времени практически не имеют широкой аудитории и более характеризуют непосредственно сочинителя, который становится для внимающих ему людей фигурой глубокой, непонятой в литературной среде, кажущейся оттого почти загадочной для всякого восторженного почитателя.

Такая читательская привычка накладывает на стихотворения Мандельштама отпечаток некоей отдельности по отношению к эпохе, в которую он творил, и по отношению к нынешней панораме стилей, интонаций и форм. Кроме того, грубое выделение социологического аспекта в его творчестве фактически устраняет многомерность этой художественной личности и переводит её в ряд

-
- Вячеслав Дмитриевич Лютый родился в 1954 году в г. Легеница (Польша). Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. В настоящее время – ответственный секретарь и заведующий отделом поэзии в журнале «Подъём». Публиковался в журналах «Подъём», «Сура», «Дон», «Русское эхо», «Коростель», «Наш современник», «Москва», «Ковчег», «Гостиный двор», «Аргмак», «Приокские зори», «Простор», «Великоросс», «Странник», «Волга–XXI век». Автор двух книг статей о современной литературе: «Русский песнопевец», «Терпенье земли и воды». Лауреат премии журнала «Подъём» («Русская речь», 2004), премии Общественной палаты Воронежской области («Живые сокровища славянской культуры», 2004), премий журналов «Ковчег» (2008), «Русское эхо» (2009). Член Союза писателей России. Живёт в Воронеже.

нарицательных образов в уже ставшем привычным противостоянии «художник–власть».

Между тем многие вещи, которые кажутся для поэзии Осипа Мандельштама наглядными и уже потому не требующими специального объяснения, нуждаются во внимательном взгляде исследователя и тактичном толковании, в основу которого положены непосредственные суждения поэта и сама энергетика его речи, свидетельствующая о важности замечаний автора, рассыпанных по текстам его статей и стихотворений.

Принято считать, что зрелому творчеству Мандельштама свойственна некая герметичность, соединённая с феерическим присутствием поэтических образов и непредсказуемой динамикой ритмов и созвучий. Пение птиц – здесь ближайшая смысловая параллель, тем более что он и сам придавал ей большое значение. Хотя прямое уподобление поэта «птичке божьей» считал «опасным и в корне неверным взглядом».

*Мы только с голоса поймём,
Что там цапалось, боролось,
И чёрствый грифель поведём
Туда, куда укажет голос.*

В этом фрагменте «Грифельной оды», во многом закрытой для целостного понимания читателем, существенным является не только интонация речи, бесспорно, для поэзии как рода литературы имеющая определяющее значение. «Что там цапалось, боролось...» – вот указатель, соединяющий непосредственную жизнь автора и эпоху с его интеллектуальным и художественным суждением о душе, бытии и нравственном выборе человека. В этой связи становится чрезвычайно весомым размышление Осипа Мандельштама о «собеседнике»¹, чьё присутствие, по мнению поэта, придаёт лирике удивительный магнетизм, который задерживает внимание читателя и надолго сохраняется в его памяти.

Говоря об этой фигуре, незримо стоящей перед внутренним взором художника, Мандельштам подчёркивал принципиальное определение собеседника как «провиденциального». Его неосязаемая личность не связана очевидным образом с настоящим временем, в которое погружён и сочинитель, но соединяет в себе прошлое и будущее, находясь в нынешнем только отчасти. В какой-то степени в подобном понимании «провиденциального собеседника» можно обнаружить приметы бытия, где три формы времени присутствуют одновременно.

Такой смысловой контур условного человека, внимающего поэту, вполне отвечает постепенно сложившемуся образу певца, чья песнь звучит над современным миром, однако направлена и уносится куда-то вдаль. И реальный читатель смиряется со своей ролью почти случайного слушателя, по счастью, уловившего голос и слова, дошедшие как будто из другого пространства, словно бы из параллельной вселенной. Эта картина оказывается достаточно обыденной для элитарного общества,

¹ О.Э. Мандельштам. О собеседнике. 1913.

в котором художник видится полубогом, упавшим на землю, но затем вознесённым избранными людьми на положенную ему по мирским меркам высоту. В таком изображении литературной ситуации отсылка к понятию «провиденциального собеседника» может быть едва ли не главной мотивацией вновь построенной иерархии лиц и положений.

Однако поэзия и мысль Осипа Мандельштама содержат в себе необходимую полноту представлений о мире и человеке, а также строгий набор литературных и интеллектуальных инструментов, которые позволяют автору войти в круг предметов, его интересующих. Обратим внимание на замечания Мандельштама о собеседнике как таковом, об авторском «стремлении заинтересовать его собой»: *«Мы боимся в сумасшедшем главным образом того жуткого, абсолютного безразличия, которое он выказывает нам. Нет ничего более страшного для человека, чем другой человек, которому нет до него никакого дела»*. И становится понятным, что речь, призванная *«обмениваться сигналами с Марсом»*, прежде должна пройти через слух здешний, в определённом смысле промежуточный и попутный. Мандельштам подчёркнуто называет конечную инстанцию, с которой и сопрягает природу лирики. При этом он опускает среднее звено, *«слушателя из эпохи»*. Подобный адресат, по его мнению, годится для литератора, но не для собственно поэта.

Отодвигая фигуру конкретного слушателя как несоответствующую задачам лирики и отдавая предпочтение *«провиденциальному собеседнику»*, способному понять её *«беспричинную правоту»*, Мандельштам, по видимости, оказывается в социальном и общественном вакууме, из которого, вопреки обстоятельствам, и доносится его голос. Кажется, что поэт к такому вполне горестному положению и стремился. Однако подобное умозаключение, содержащее некую эстетическую логику, в основе своей бессердечно и характеризует согласного с ним читателя или исследователя как эгоистичного потребителя литературных продуктов.

Представление о промежуточном *«слушателе из эпохи»* отепляет образ поэта, придаёт ему человеческое обаяние и совсем не отрицает программных слов. Более того, именно в таком расположении действующих лиц в пространстве поэзии («автор–современник–провиденциальный собеседник») содержится объяснение многих герметичных мест лирики Мандельштама, как и самой динамики «ясности» его книг от «Камня» до «Воронежских тетрадей». С течением лет для внутреннего зора Осипа Мандельштама всё более размывались контуры современника, *«друга в поколении»*, и увеличивалась дистанция, разделяющая певца и его мистического, «провиденциального» союзника. Одновременно сжимались границы реальности, в которой можно было говорить и передвигаться, росло осязаемое одиночество, слова становились звенящими, будто в пустой комнате.

Теперь, безусловно являясь частью «провиденциального собеседника» Мандельштама, мы внимаем голосу автора, вникаем в неожиданные смыслы стихотворений, слова которых затронули эпоху по касательной и эхом отозвались в будущем. Судьба поэта – плата за тот жребий, который он выбрал для себя: высокий и горький, непреклонный и уязвимый, достойный любви и сострадания.



**Андрей
ТИМОФЕЕВ**

ОРГАНИЧНОСТЬ КАК ПОНЯТИЕ И КАК ПОДХОД

**(О практических методах
современной органической критики)**

*И быть живым, живым и только,
Живым и только до конца...*

Б. Пастернак

ВВЕДЕНИЕ

В нашей прошлой статье¹ мы пытались говорить об общих принципах органической критики: указывали на важность личности критика, решали вопрос о соотношении между эстетикой и реальностью в пользу торжества Правды жизни, формулировали понятие «удара» – прорыва бытового содержания сгустком концентрированного бытия, искали высшее проявление Правды жизни в любви автора к своему герою. Однако, по большому счёту, все эти рассуждения являлись результатом рассмотрения критики сквозь духовно-нравственную установку – т. е. входили в сферу того главного, о чём стоит один раз сказать громко и явно, а затем надлежит молчать (конечно, если

-
- Андрей Николаевич Тимофеев родился в 1985 году. Окончил Литературный институт имени Горького. Участник II Всероссийского Некрасовского совещания молодых писателей. Ведёт авторскую рубрику «Дневник читателя» на сайте «Росписатель». Публиковался в журналах «Новый мир», «Наш современник», «Подъём», «Волга–XXI век». Победитель III Литературного форума «Золотой Витязь» в номинации «Дебют». Живёт в Москве.

¹ О современной органической критике. «Волга–XXI век», № 5–6 2015.

это главное не подвергается серьёзным нападениям). Теперь же мы можем перейти к вещам частным, но в то же время более конкретным, а именно – к профессиональной деятельности критика.

И здесь мы должны иметь в виду два важных момента.

Во-первых, любая критика есть анализ, а не просто «красивые» разговоры о литературе, а значит, у критика должен быть определённый аналитический аппарат. Вопрос о том, каким должен быть этот аппарат (о степени его разработанности, необходимости его обновления для решения текущих задач), очень важен, однако не может быть решён без учёта личных творческих качеств каждого конкретного автора. Так, например, М. Лобанов в своей критике отталкивается от психологической достоверности и внутренней правды характера; И. Золотусский в первую очередь исследует художественное произведение на соответствие нравственному идеалу; а у В. Кожина преобладает историко-литературный анализ, основанный на обобщении большого фактического материала, внимательно отслеживающий терминологическую ясность и логическую непротиворечивость.

Во-вторых, любой критический анализ, в отличие от естественно-научного, имеет свой предел: ту степень разложения, при которой теряется таинственное обаяние искусства и от живой жизни, заключённой в нём, остаётся лишь мёртвый скелет. Мысль об опасности подобного разложения красной нитью проходит через всё отечественное литературоведение: она характерна для А. Григорьева²; на ней делает акцент А. Лосев³, прежде чем погрузиться в исследование абстрактной художественной формы; она – центральный узел борьбы со структурализмом в работах П. Палиевского⁴ и т. д.

Помня об этом, мы можем сформулировать практическую задачу любой литературной критики как *исследование художественного текста с помощью определённого аналитического аппарата без повреждения заключённой в этом тексте живой жизни*. Как видим, задача эта, по большому счёту, сводится к соблюдению баланса между двумя недопустимыми крайностями: образным рассуждением о литературе без проникновения в глубину художественного творчества и неоправданной позитивистской аналитичностью, выхолащиванием литературы до мёртвых логических формулировок.

² Например, в статье «Критический взгляд на основы, значение и приёмы современной критики искусства»: *«Явился взгляд, который в художественных произведениях постоянно ищет преднамеренных теоретических целей, вне их лежащих; варварский взгляд, который ценит значение живых созданий вечного искусства постольку, поскольку они служат той или другой поставленной теорией цели».*

³ Например, в книге «Диалектика художественной формы» о точности исследования, в том числе и в сфере художественного творчества: *«...часто эта точность достигается тем, что предмет становится до крайности отвлечённым и схематичным, весьма далёким от живой действительности и её живого движения и борьбы...»*

⁴ Например, в статье «О структурализме в литературоведении» о расплывчатости и неопределённости литературы: *«...устранив и победив их, учёный вместо ожидаемой ясности лицезрел пустоту. Вместе с неопределённостью вдруг и неизвестно почему пропало какое-то глубокое, ничем не восполнимое содержание, ради которого, может быть, только и стоило обращаться к литературе, которым только и жило произведение, попавшее в «моделирующие» руки. Точность и ясность возникали, но за счёт невидимого отсечения скрытого за обыкновенными словами смысла. Он-то, оказывается, и привлекал к себе читателей, действуя художественно, изнутри...»*

Однако для органической критики, о которой мы и будем говорить в дальнейшем, живая жизнь – это не просто предел, за который нельзя заходить, но центр, точка притяжения, к которому стремятся все помыслы исследующего. Живая жизнь в литературе – это именно то, о чём писал А. Григорьев в статье «Критический взгляд на основы, значение и приёмы современной критики искусства»: *«В созерцании первостепенных, то есть рождённых, а не деланных созданий искусства можно без конца потеряться, как теряется мысль в созерцании жизни и живых явлений. Как рождённые, и притом рождённые лучшими соками, могущественнейшими силами жизни, они сами порождают и вечно будут порождать новые вопросы о той же жизни, которой они были цветом, о той же почве, в которую они бросили семена».*

Именно живая жизнь является предметом напряжённого освоения любого искусства и литературы в частности. Увидеть живую жизнь в тексте, отличить её от мёртвой подделки, оценить степень жизненности произведения, чтобы на основании этого сделать вывод о её художественной ценности, – это и есть важнейшая практическая задача органической критики.

Попытки решения этой задачи неразрывно связаны с понятием **органичности**, т. е. соответствия живой жизни её внутренней логике и в то же время её бесконечной глубине. Для нас в этом понятии будет важным, во-первых, то, что органичность есть не просто следование жизни в её порой совершенно хаотичных проявлениях, но соответствие её духу и логике. И, во-вторых, то, что органичность подразумевает собой бесконечномерность, т. е. принципиальную несводимость к какому-либо прямолинейному высказыванию, к абстрактной формуле или даже сколь угодно сложной, но всё-таки конечномерной модели.

Итак, на наш взгляд, художественной ценностью обладает только живое, и от степени органичности художественного произведения напрямую зависит его оценка. А между тем в современной критике мы не только не видим стремления отличить живое от мёртвого, но и зачастую становимся свидетелями насаждения творческих установок, прямо ведущих к неорганичности. Вопиющая оторванность от жизни огромного количества современных произведений есть не столько следствие бесталанности их авторов, сколько следствие этих изначально ошибочных установок, внушённых, в том числе, и современной критикой.

Анализу этих установок, а также попыткам определить, что же можно назвать органичным, а что нельзя, и будет посвящена данная статья.

Но для начала мы должны заметить, что разбирать художественный текст можно на разных уровнях и, соответственно, говорить, например, об органичности метафоры и образа рассказчика необходимо по-разному. И потому мы попытаемся разделить наше исследование на три этапа: рассмотрение органичности на уровне языкового приёма, на уровне мысли и на уровне характера. Будем надеяться, что если мы и не сможем решить эту задачу во всей целостности и неисчерпаемости, то хотя бы сделаем первый шаг на этом пути.

1

К ОРГАНИКЕ ЯЗЫКОВОГО ПРИЁМА

Одна из главных ошибок современной критики состоит в восприятии литературного произведения как некоего механизма. В рамках такой установки художественная ценность его определяется хорошей «сделанностью», а сам процесс написания сводится к подбору тех или иных художественных «приёмов». Конечно же, такая установка глубоко чужда органическому взгляду на творчество, как чуждо ему само понятие «приёма» – элемента, рассчитанного на создание определённого эффекта и повторяющегося из одного текста в другой. История культивирования неорганических приёмов, провозглашения их время от времени даже самой сутью литературы, например, в эстетике авангардизма или постмодернизма, могла бы, вероятно, составить предмет особого обширного исследования⁵, однако нам здесь важно принципиальное несоответствие подобного взгляда нашему восприятию литературы.

Но проблема на самом деле даже шире, чем просто ориентация на «сделанность»: в основе неорганического подхода к тексту лежит восприятие литературы как явления исключительно филологического, в котором интерес автора и критика сосредотачивается лишь на языковой ткани, а не выходит в психологически усложнённый мир людей и бытийных вопросов⁶. Единственное, что культивирует такой вульгарно-филологический подход – это скрытый смысл, преобразование одного значения слов в другое. Однако скрытый смысл – понятие, в котором изначально заложена конечность, исчерпаемость и в котором единственная (и отчасти случайная) бесконечная глубина может возникнуть лишь благодаря бесконечномерности самого языка (т.к. «усложнённый мир людей и бытийных вопросов» проникал в народную жизнь, в которой язык собственно и формировался).

В противовес понятию скрытого смысла органический взгляд ищет в художественном тексте то, что в своей прошлой статье мы называли «ударом», т.е. прорыва бытового содержания ступенью концентрированного бытия, преодоления «филологического» в тексте, выхода к над-языковым феноменам. «Удар» есть выражение самой сути жизни и потому является наиболее органичным из всех языковых приёмов.

Теперь мы должны проиллюстрировать разницу между неорганичным и органичным на конкретных примерах, однако мы не станем искать их у современных авторов, потому что язык этих авторов чаще всего отличается абсолютной безликостью. И потому найдём характерный пример в классике, а характерную ошибочную установ-

⁵ И такие исследования есть. Например, Кожин Вадим. Об эстетике авангардизма в России. История литературы в работах ОПОЯЗа – в кн. Размышления о русской литературе. М.: Современник, 1991.

⁶ Более тонкий случай, когда прямолинейность смыслопреобразования как бы прикрыта живой тканью, однако и здесь внимательный взгляд может заметить, что же является целью – смыслопреобразование или живая жизнь.

ку, ведущую к неорганичности, – у одного из самых серьёзных критиков нашего времени – Ирины Роднянской.

Наиболее подходящим для этой цели кажется нам её разбор строфы из стихотворения Б. Пастернака «Музыка»⁷. Этот разбор замечателен ещё и тем, что его приводит в своей статье другой критик В. Губайловский⁸ в качестве примера не сиюминутного, а универсального свойства поэзии (существовавшего в течение семнадцати веков до настоящего времени), так называемого *резистентного контекста*.

Строфа звучит следующим образом:

*Так ночью, при свечах, взамен
Былой наивности нехитрой
Свой сон записывал Шопен
На чёрной выпилке пюпитра.*

И. Роднянская справедливо замечает, что если посмотреть на текст внимательно, то можно увидеть: *«в противопоставлении «былой наивности» и «записи сна» нет никакой логики, одна лишь видимость логики, возникающая из синтаксического строя фразы»*. И лишь *«внутренняя форма»* слова *«выпилка»* и *«экзотическая для русской речи артикуляция»*, требуемая для произнесения слова «пюпитр», намекают нам на изощрённость, тщательность, характерные для труда мастера, и тем самым приводят к требуемому противопоставлению мастерства и *«былой наивности»*. И читатели, в принципе, понимают, о чём идёт речь без дополнительных пояснений: раньше Шопен сочинял свою музыку по вдохновению, легко и наивно, а теперь проводит ночи в попытках отшлифовать каждую музыкальную фразу. Мы видим, что в этой строфе говорится одно, но с помощью языкового приёма смысл фразы преломляется. В. Губайловский видит в этом *«чудо рождения смысла»* и *«преображение семантики слов»*.

Однако, взглянув на эту строфу с позиций органичности, мы заметим, что в *«рождении смысла»*, которое здесь на самом деле имеет место, есть всё-таки прямолинейность, логическая одномерность: один смысл механически преобразуется в другой (*«чёрная выпилка пюпитра»* – в изощрённый труд мастера) – отсутствует та таинственная бесконечномерность, которая свойственна подлинной литературе и живой жизни. Механизм действительно мастерски сделан, однако он остаётся всё-таки механизмом. И признать его *«универсальным свойством поэзии»* можно, лишь воспринимая литературу с позиций абстрактно-математического универсализма.

То, как действует по-настоящему органичный приём, мы попытаемся показать на примере другого стихотворения Пастернака – «Рассвет».

Стихотворение начинается так, что у читателя остаётся отчётливое ощущение, что речь идёт о близком друге лирического героя:

⁷ Роднянская Ирина. Слово и «музыка» в лирическом стихотворении – В кн. Движение литературы. М., Языки славянских культур, 2006. Т. 2.

⁸ Губайловский Владимир. Конец эстетической нейтральности. «Новый мир». № 2. 2014.

*Ты значил всё в моей судьбе.
Потом пришла война, разлука,
И долго-долго о тебе
Ни слуху не было, ни духу.*

Но уже в следующей строфе происходит неожиданное открытие – тот, кто сначала воспринимался как старинный друг, оказывается автором Завета, настоящим Богом:

*И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я твой завет
И как от обморока ожил...*

Предельное сближение психологической дистанции между лирическим героем и Богом, установление по-настоящему личной связи между ними – вот та сложнейшая творческая задача, которая стояла перед Пастернаком в данном стихотворении. Достижение желаемого происходит с помощью совокупности «приёмов»: утаивания в первой строфе имени Того, к кому обращено стихотворение, названия Его на «ты» с маленькой буквы (и это очень точно, заглавная буква здесь лишила бы отношения с Богом необходимой интимности, без которой невозможно прозрение), а главное – вот этого совершенно человеческого, даже разговорного: «*ни слуху не было, ни духу*». Всё это «приёмы» однако настолько естественны и на первый взгляд бесхитростны, на грани какой-то гениальной простоты, позволяющей ощутить встречу с Богом буквально как встречу с родным человеком или старым другом.

Не просто «преображение семантики слов», но чудо психологического сближения – вот итог действия органического приёма Пастернака. Это чудо мы ощущаем в реальности и потому переживаем вместе с лирическим героем то, как хочется ему «*к людям, в толпу*», и чувствуем, как он «*будто побывал в их шкуре*». Посмотрите, насколько это как бы случайно-разговорное «*ни слуху не было, ни духу*» глубже, значительнее «*выпилки пюпитра*», насколько больше открывает оно нам в глубине не только душевного состояния лирического героя, но и бытийного устройства мира. В первом случае на выходе – иной смысл, который, впрочем, может быть сведён к прямолинейному высказыванию, просто сформулированному другими словами. Во втором случае – то, что выразить словами в принципе невозможно, но в то же время (оказывается) можно ими выразить.

Если мы взглянем на классическую литературу, то можем заметить, что художественное творчество больших писателей никогда не сводилось собственно к языковому мастерству, так что произведения большинства из них кажутся нам теперь даже недостаточно эстетичными. Однако эстетическая ценность языковой ткани не может быть мерой художественности произведения, потому что языковую ткань нельзя рассматривать в отрыве от нравственно-психологических задач, от сюжета, от характера образа автора наконец. Язык не само-

цель, но органическое следствие того, что хочет сказать автор, т. е. внутреннего содержания произведения⁹.

2

К ОРГАНИКЕ МЫСЛИ

Перейдём теперь с уровня языкового на идейно-мыслительный. Подход, ведущий к неорганичности на этом уровне, связан с восприятием литературы как глобального контекста, в котором переливаются те или иные мысли. При таком подходе каждое произведение рассматривается как своеобразный информационный поток, ценность которого заключается в концентрации или новизне мыслительного наполнения. Заблуждение здесь состоит в том, что мыслительный пласт как бы отделяется от всей полноты произведения, а одно касание темы в виде той или иной формулировки, присутствующей в тексте, выдаётся за её освоение. Вопрос о художественной ценности при этом игнорируется совершенно. (И действительно, какая художественная ценность может быть у информационного потока?)

Возникает новый и совершенно неорганичный тип текстов, мы можем назвать их – контекстной литературой. Во-первых, к этому типу относятся разнообразные игры с произведениями предшественников, когда реальность подаётся автором не через свой личный внутренний опыт, а преломляется сквозь культурный контекст. Такой подход может породить лишь мёртвые формы, он глубоко неорганичен по своей сути: реальность, преломлённая сквозь культурный контекст, перестаёт быть реальностью и превращается в постмодернизм (вне зависимости от того, признаёт ли данный автор себя приверженцем этого направления или нет). Во-вторых, к контекстной литературе относятся многообразные произведения, в основе которых лежит публицистический взгляд – вся эта литература факта, где реальность хоть и подаётся читателю прямо, но всё же в виде прямолинейных формул (часто идейно окрашенных).

Приводить отдельные критические статьи, культивирующие подобный подход, как мы это делали в прошлой главе, бессмысленно: почти вся современная критика больна контекстным восприятием в той или иной степени (отчасти это можно принять как угол зрения определённого направления в критике, однако под таким углом имеет смысл рассматривать только состоявшиеся тексты, чья ценность несомненна, зачастую же разбираемые произведения очень далеки от этого). При таком способе восприятия есть определённая логика в том, что в качестве ведущих писателей кто-то может назвать, например, Владимира Шарова и Виктора Пелевина или Александра Проханова. Но ведь их прямолинейный способ играть (и заигрывать) с различными контекстами как с информационными потоками глубоко неор-

⁹ По этому поводу, например, статья Ю. Селезнёва о языке Достоевского: Селезнёв Юрий. Нечто из Апокалипсиса – в кн. Избранное. М.: Современник, 1987.

ганичен. В лучшем случае (при достаточной глубине, обоснованности, а главное – первичности) это может быть квалифицировано как философская эссеистика, но никак не художественное творчество.

Абстрактная мысль никогда не была для подлинной литературы самоцелью. Чураясь отвлечённых рассуждений, литература искала для себя не просто мысль, но конденсат жизненного и бытийного вещества, не просто философское утверждение, вкрапленное в текст, но квинтэссенцию его внутреннего содержания, т. е. такую мысль, которая была бы глубоко связанной с сюжетным, нравственным, художественным напряжением данного произведения.

Проиллюстрировать разницу между мыслью неорганической (рациональной, тематической) и органической мы попытаемся, сравнив «мыслительные пласты» из романа А. Понизовского «Обращение в слух» и из хрестоматийной повести В. Распутина «Пожар».

В центре внимания автора «Обращения в слух» – необычный метод исследования национального русского характера. Состоит он в том, чтобы выслушать множество рассказов носителей этого характера и проанализировать их, чем и занимаются несколько героев романа в уютном гостиничном номере в одном из городков Швейцарии. Роман построен в виде чередования отрывков, в которых различные люди рассказывают о себе (некоторые из этих отрывков правдивы и даже художественны, другие бессильны и слабы), и обсуждений этих отрывков самими героями.

В процессе обсуждения высказываются подчас интересные мысли, особенно главным героем романа – Фёдором. Мысли эти в основном умозрительны (на что автор прямо указывает словами другой героини – Лёли), однако зачастую глубоки. Например, развёрнутое рассуждение о рае, в котором Адам даёт имена «душам живым». Фёдор замечает, что Адам называет мышь мышью, а слона слонем не произвольно, но, чувствуя «какую-то главную суть», выбирает единственное точное имя. Он не называет мышь «грызуном» или «вредителем» (как сделал бы на его месте человек, имеющий какие-то запасы); не называет слона «тушей» или «носи-носи» (как сделал бы человек, желающий пользоваться слонем в своих целях) – Адам относится к животным «не как к субъектам, а как к душам живым». В другом месте романа Фёдор говорит о реальностирая: «Рай – это наша подлинная реальность! Она настолько близка... ближе кожи... Она в самом центре сердца... и в центре памяти! В центре памяти – потому что каждый из нас был младенцем. А каждый младенец, в сущности, – тот же Адам...»

Замечательные мысли встречаются в романе и по поводу некоторых притч из Евангелия. «Мы не слушаем Бога, который обращается к нам, – говорит Фёдор Лёле. – Он только начинает: «Человек некий...» – а мы: «Знаем, знаем. Всё знаем про вашего человека. Быдло ваш человек...» (Кстати, это, пожалуй, единственная мысль у Понизовского, в которой как-то нащупывается связь с романом как целым, и в частности с его названием. В этой мысли содержится призыв: нам необходимо слушать как Бога, обращающегося к нам, так и человека, находящегося рядом, – обращаясь в слух, т. е. учась слу-

шать людей-респондентов из микрофона, герои романа открывают что-то и внутри своей души.)

Однако все эти мысли, сами по себе достаточно важные, входят в текст совершенно произвольно, их содержание оторвано от организующего начала текста. Идеи не впитываются в языковую ткань и нравственно-психологическую плоть текста, а остаются сконструированными фигурками на его поверхности. Единственное серьёзное действие у Понизовского – отмена Лёлей своего отъезда из гостиницы по просьбе Фёдора, и этого, разумеется, катастрофически мало для органического вплетения «мыслительного пласта» романа в его сюжетно-событийную плоть. Таким стало бы «Преступление и наказание», если бы Раскольников на протяжении всего романа ходил бы по кабакам, печатал свою статью о праве сильного, спорил с Соней и Свидригайловым, но не убивал бы вовсе¹⁰.

Повесть «Пожар» В. Распутина так же, как и роман Понизовского, во многом посвящена осмысливанию национального характера и так же насыщена мыслями как таковыми. Например, рассуждение Ивана Петровича о внутреннем устройстве человека: о том, что, когда разум, сердце и воля находятся в согласии друг с другом, человеку кажется, что он господин над ними, *«властелин, несущий в теле своём, как в царстве, все его города и веси, все установления и связи, все пороки его и славу»*. Но *«когда наступает разлад и когда принадлежащие тебе владения отказываются тебе повиноваться... приходит догадка, что они сильнее тебя»*. И далее: *«Страшное разорение чувствовал в себе Иван Петрович – будто прошла в нём иноземная рать и всё вытоптала и выгадила, оставив едкий дым, оплавленные черепки и бесформенные острые куски от того, что было как-никак устоявшейся жизнью...»*

Постепенно ощущение разлада проникает уже не в одного только героя – оно начинает разрастаться, охватывает чуть ли не весь мир. Мысль о нравственной деградации звучит теперь горько и трагично: *«Но добро и зло отличались, имели собственный чёткий образ. Не говорили: зло – это обратная сторона добра, с тем же самым лицом, косящим не вправо, а влево, а считалось, что зло – это ещё не обращённая, вроде язычества, в лучшую нравственную религию сила, делающая дурно от своей неразвитой звериной натуры, которая не понимает, что она делает дурно. Если бы удалось между добром и злом провести черту, то вышло бы, что часть людей эту черту переступила, а часть ещё нет, но все направлены в одну сторону – к добру. И с каждым поколением число переступивших увеличивается... Что затем произошло, понять нельзя. Кто напугал их,*

¹⁰ Сравните, например, из статьи В. Кожина «Необходимость героя»: *«Без осязаемого осуществленного (и, разумеется, полного глубокого смысла) действия невозможно создание героя. Самое углублённое фиксирование мыслей, чувств, переживаний не может поставить перед нами героя в подлинном значении этого слова. Так, без действия невозможно воплотить нравственную суть героя, ибо никакие этические размышления и переживания не раскрывают эту суть: она обнаруживается только в решительном, изменяющем положение вещей поступке, который есть необходимое осуществление нравственного выбора (пока человек только переживает – пусть даже самым интенсивным образом, – но не действует, он не совершает этого выбора)»*. Кожин Вадим. Статьи о современной литературе. М.: Сов. Россия, 1990.

уже переступивших черту и вкусивших добра, почему они повернули назад? Не сразу и не валом, но повернули. Движение через черту делалось двусторонним, люди принялись прогуливаться туда и обратно, по-приятельски пристраиваясь то к одной компании, то к другой... Добро и зло перемешались. Добро в чистом виде превратилось в слабость, зло – в силу... Что такое теперь хороший или плохой человек? А ничего...»

Сами эти мысли о внутреннем устройстве человек и о нравственной деградации мира хоть и вполне интересны, однако же вовсе не являются самоцелью (и даже более: в отрыве от текста могли бы превратиться в очевидные утверждения). Но их ценность в том, что они вплетаются в картину глобального пожара, мощного образа, позволяющего интерпретировать себя на совершенно разных уровнях: от провидчески предугаданного развала страны до апокалипсического конца мира – эти мысли работают на главный образ повести, на её целостное восприятие. В рассуждениях этих сплетены не только мысль сама по себе и мысль как характеристика героя (что было иногда и у Понизовского как свидетельство некоторой наивности его Фёдора, однако это отчасти и снижало саму мысль), но и мысль как бесконечномерный образ.

Итак, только мысль, органично входящая в произведение как его неотъемлемая часть, укоренённая во всей полноте духовно-нравственной проблематики, может оказывать живительное и сильное воздействие на читателя. Здесь разгадка актуальных и по сей день мыслительных прозрений русской литературы и, прежде всего, Достоевского и Толстого.

3

К ОРГАНИКЕ ХАРАКТЕРА

Тот уровень, на котором исследуется жизненность характеров героев, является, пожалуй, самым важным для органического взгляда, потому что именно здесь, по большому счёту, сосредоточен предмет его интереса – сама жизнь. И первой ошибочной установкой, ведущей к неорганичности на этом уровне, является тенденциозность.

Тенденциозность – это своего рода мейнстрим литературы нашего времени, когда прямолинейное выражение идейно-политических взглядов автора становится чуть ли не обязательным атрибутом современного произведения. Тенденциозность несколько иного рода свойственна авторам, которые во что бы то ни стало стремятся своим собственным произволом показать мир и своих героев максимально чёрными, ошибочно полагая, что якобы говорят «всю правду» о них¹¹. Нарочитость психологических ходов, их следствие из общей тенденциозной установки в подобных произведениях при вдумчивом рассмотрении очевидны.

¹¹ Характерный пример – проза Романа Сенчина.

Подобные произведения искусства (если их можно так назвать) похожи на фотографии, сделанные с помощью светофильтра, позволяющего проникать на плёнку лишь определённого цвета и задерживающего все остальные. Конечно, человеку, смотрящему на мир сквозь похожий светофильтр, такая фотография может и понравиться, однако объективно она всё равно лжива, а изображённое на ней – недостоверно. Ведь подлинное искусство всегда старается видеть мир не в одном цвете, а смотреть как бы сквозь прозрачное стекло, не искажающее действительность. Разрыв между прозой разных литературных лагерей часто заключается всего лишь в использовании разных светофильтров, в противоположности идеологем – и если за этими идеологемами нет никакого художественного содержания, то сойтись людям с разными тенденционными установками практически невозможно.

Для преодоления такого разделения в восприятии искусства возможен, на наш взгляд, только один узкий и чрезвычайно сложный путь – путь определения психологической достоверности. Будучи волевым усилием отсечённой от собственных тенденционных взглядов и оценок, психологическая достоверность (или недостоверность) всегда зримее и всегда значит больше, чем соответствие (или несоответствие) той или иной точке зрения, отлитой в логическую формулировку. И потому вопрос об органичности характера неразрывно связан с психологической достоверностью каждого конкретного поступка, слова, движения души того или иного героя.

Конечно, подобная достоверность достигается с помощью высочайшего напряжения творческих сил автора, а в самом процессе её достижения заключена тайна, разрешить которую во всей полноте невозможно. И потому мы пойдём другим путём: попытаемся выделить несколько характерных типов психологической недостоверности, как-то классифицировать её основные проявления. В качестве материала возьмём рассказ «Внутренний враг» молодого раскрученного автора Александра Снегирёва¹², чья проза во многом соответствует духу приведённого примера со светофильтрами.

Следствием недостатка у автора внутреннего опыта или отсутствия творческой наблюдательности является первый тип недостоверности, который будет рассмотрен нами, а именно – **психологическая очевидность**. Она заключается в том, что описание поведения человека, его мыслей и чувств в тех или иных ситуациях строится примитивно, без углубления в душевно-нравственную сложность происходящего.

В рассказе Снегирёва мы на первых же страницах сталкиваемся с этим явлением. У главного героя недавно умерла мать, но ему продолжают звонить её знакомые. Автор так описывает реакцию героя на эти звонки: *«Миша уже выучился отвечать: «Она умерла». Отвечать не запинаясь. Отвечать и не смотреть после этого в точку по часу. Не падать в бесконечный колодезь самоуборков, что вовремя не свозил мать на отдых, не уделял ей достаточно времени, редко проведывал...»* Всё это, по большому счёту, очевидные штампы.

¹² Снегирёв Александр. Чувство вины. М.: Альпина-нон-фикшн. Или «Новый мир». 2012, № 5.

В своих бессильных попытках выдумать хоть что-нибудь автор принимается описывать реакцию звонивших людей: *«...которые о смерти матери не знали, удивлялись, как это так, такая ещё молодая, что же случилось, плохие врачи, вот у меня врач хороший, на ноги поставил... Многие любопытничали, выспрашивали подробности болезни и очень разочаровывались, узнав, что болезни никакой не было. Не было страданий, паралича, ложных надежд, знахарей-шарлатанов, вонючих простыней, пролежней. Сосуд лопнул. И всё...»* Это очень характерное – *«и всё»*. Автор будто бы перебирает доступные ему возможные варианты смерти: страдания, вонючие простыни, пролежни, но в конце концов останавливается на самом простом: *«сосуд лопнул»*. Как будто такая быстрая смерть освобождает его от необходимости показать душевное состояние героя. Более того, нигде больше в рассказе смерть матери не будет влиять на поведение Миши. Она служит лишь сюжетной деталью, необходимой для введения дедушки главного героя, которого тот никогда раньше не видел и который собирается оставить его в наследство дом¹³.

Второй характерный тип недоверности назовём – **психологической спрямлённостью**, т.е. однозначностью психологической связи между одной чертой характера героя и его поведением. Очень часто современным авторам представляется, что если они наделили героя храбростью, то этого уже достаточно, чтобы тот не испытывал страха во время тяжёлого боя, или что если герой впечатлительный, то можно всерьёз не анализировать причины его эмоций, а позволять ему совершать любые неадекватные действия.

Предвосхищая то, что дедушка окажется бывшим капитаном НКВД, Снегирёв даёт такую характеристику своему герою: *«Миша, конечно же, интеллигент. Начитанный, всегда против, люто ненавидит опричников, чекистов, службу вечной русской тайной канцелярии...»* И далее – об отношении к советскому прошлому: *«Те мрачные времена Миша представлял себе весьма смутно, «плохих» он, как и следовало человеку его круга, ненавидел, «хороших» почитал за мучеников...»* Конечно же, этих пояснений совершенно недостаточно, чтобы примирить читателей с дальнейшими событиями: тем, как герой, увидев на плече спящего деда татуировку «Свет несёт смерть врагам народа» и поняв, что тот имеет отношение к сталинским репрессиям, начинает мучиться, представлять, как дед пытал заключённых, и в конце концов берёт в руки топор, чтобы деда убить. Совершенно нелепая и бессильная сцена кончается тем, что, не в силах осуществить задуманное, герой выбегает на улицу и пытается ударить топором по своей руке, впрочем, так же безуспешно. Кажется, автор даже и не подозревает, что любой шаг героя, любое движение его души нуждается в обосно-

¹³ Конечно, всё сказанное вовсе не означает, что достоверным является только что-то необычное и парадоксальное, напротив – в мире достаточно реакций предельно простых. Но в таких реакциях простота правдива, она возникает не сама по себе – внимательный незамутнённый взгляд проверяет эту простоту полноценным углублением в неё и, только действительно не находя внутри никакой «сложности», возвращается на поверхность, собственно в саму языковую ткань, и провозглашает простоту явно. Но для такого взгляда простота не является следствием схематичности восприятия автором героя, а скорее указанием на его духовно-нравственную целостность.

вании – разумеется, не прямом и явном, а естественным образом вытекающем из полноты личности героя и огромного многообразия внешних условий. Это нельзя сделать простым логическим соответствием (ненавидел времена репрессий – захотел убить сталиниста), необходимо погрузиться в душу героя, воспринять его целиком.

Но психологическая спрямлённость не всегда является следствием только неумения автора сжиться со своим героем, часто она возникает из-за **неорганического проникновения автора в героя**. Подобная подмена всегда зрима, отталкивающе тенденциозна и всегда мешает нам не только сопереживать герою, но и принять его мысли, чувства и поведение как реальность. *«А сами-то кто, нынешние слуги тайных ведомств? Недалёкие подпевалы, обезьянничающие двоечники, миноритарии поеденных молюю идеологий, подворовывающие втихую, путано крестясь на портретик начальника... Эти мясные бойцы выдавили на корабль таких, как Миша. Дохляков, умников, очкариков, лиших. Он работал однажды на выставке зарубежной недвижимости. Люди валом валили, хоть бы что прикупить – домик, квартирку, закуток. И не для отдыха, а для побега из страны, которая в любой момент может полыхнуть. Гадливый страх поселился в людях. Страх этот разъедает души, уродует мечты, перетирает жизни...»* Это навязчивое авторское сгущение, вырывающиеся истерические нотки: *«миноритарии поеденных молюю идеологий»* – хоть и имеют отношение к внутреннему монологу героя, но не столько вследствие его собственной черты характера (той самой прямолинейной ненависти к опричникам, которую ему вменяет автор), сколько вследствие предубеждённости автора против этих самых *«слуг тайных ведомств»*, *«двоечников»* и *«миноритариев»*. Это и есть, по сути, тот самый светофильтр, сквозь который автор смотрит на окружающую его действительность и пытается внушить подобный взгляд своему читателю, забывая о психологической достоверности описываемых событий¹⁴.

К сожалению, подлинный психологизм почти полностью исчез из современной литературы. В лучшем случае его подменил рассудочный психоанализ, в худшем – авторский произвол. В мире вульгарной тенденции мы начинаем постепенно забывать, что те или иные убеждения автора не могут служить оправданием восприятия мира в одном цвете; у настоящего художника убеждения входят в текст органично, выражаясь не в преднамеренном окрашивании, но в особом угле зрения, под которым автор смотрит на мир и который помогает ему пристальнее разглядеть то или иное явление, не повреждая «прозрачности» восприятия.

¹⁴ Не случайно, например, Дмитрий Быков пишет об этом тексте: *«Новая книга Александра Снегирёва сочетает замечательную точность в изображении современной России с абсолютной непредсказуемостью фабулы. При этом фабула развивается именно так, что при всей её абсурдности читатель глубоко в душе чувствует: это именно наше и про нас, и чем недоверней, тем убедительней»*. В переводе на нашу терминологию это означает прямо: «да, текст Снегирёва абсолютно недостоверен, но поскольку его светофильтр совпадает с моим, то я считаю, что он убедителен и пишет правду».

Но психологическая достоверность ещё не означает органичности характера – отдельные жесты могут оказаться достоверными, но этого всё равно будет недостаточно для того, чтобы герой вышел по-настоящему живым и полноценным. Ведь человеческий характер – сложнейшая загадка, бесконечный мир с множеством противоречий и характерных черт, в котором можно потеряться и который не может быть низведён до какой-либо психологической формулы. И вторая ошибочная установка, ведущая к неорганичности на уровне характера, как раз и заключается в том, что вместо естественного вытекания образа героя из целостности личности самого автора происходит его упрощение, схематизация.

Но настоящая жизнь гораздо глубже любой схемы, и потому если в произведении есть живое, то оно обязательно пробьётся сквозь заданный логический каркас. Как это происходит, мы попытаемся показать на примере рассказа Анны и Константина Смородиных «Мария»¹⁵.

Рассказ этот построен на чрезвычайно важном, но уже много раз озвученном теми или иными авторами противопоставлении церковной обрядовости – живой вере. Героиня рассказа, пожилая женщина Мария, недавно пришедшая к вере, заведует в храме «третьим подсвечником и ковриками». Её вера достаточно узка: во время службы она не молится, а поправляет свечи («...свеча ведь тоже внимания требует: то капать возьмётся, то тухнет, то падит, то от жара соседнего сгибается. Так-то крутишься, крутишься, служба-то и промелькнёт»); склонна к осуждению ближних (звонаря Ивана – «нет, что ни говори, Василий ответственной звонит», дьякона Вячеслава – «тоже, скажем прямо, распущенный. Свободный слишком»); не думает о Боге, а вмещает в своё понимание лишь тревоги за людей, которых видит («А Бог? У Него же всё есть. И Он ни в чём не нуждается... Он – далёк. А батюшка близок»).

И эта обмирщённость Марии не только показывается авторами через мысли и чувства героини, но и сообщается в виде готового приговора: «Это была непреодолимая бездна между церковным ковриком и Богом, основавшим Церковь, в одном из храмов которого лежал этот коврик, заботливо и суетливо положенный Марией». А в конце рассказа Мария даже как будто осознаёт свой недостаток, садится у стола в своей квартире, складывает руки на коленях, как школьница, и горько и обиженно плачет – «об обретенной вере». Но её неожиданное осознание своей обмирщённости находится внутри авторской схемы и оставляет у читателей привкус некоторого дидактизма, от которого не спасают даже теплота тона и образность заключительной сентенции: «Именно теперь вдруг ей стала нужна искра не от камиленного уголька, а от того живого огня, что горел в других людях и делал их непостижимыми, и вво-

¹⁵ «Наш современник». № 9, 2011.

дил их куда-то, где был живой и близкий Господь и куда теперь со всей силой души пожелала войти Мария»¹⁶.

Однако воспринимая рассказ во всей его целостности, читатель не может согласиться с этим итоговым утверждением: героиня даже в своих очевидных недостатках вызывает такое сопереживание, которые можно испытать только по отношению к живому человеку и после которого немислимы уже какие-то высокомерные приговоры. Вот мы видим, как Мария на протяжении службы беспрерывно трудится, так что руки у неё всегда в воске – и можем ли мы упрекнуть героиню за невнимание к церковной службе? Вот она престодушно произносит: *«А в церкви нет дел несерьёзных»* – и разве эта мысль не христианская в своей неожиданной глубине? Вот авторы передают самый сильный страх Марии: *«Да если бы батюшка умер, тут не только своего цветника не пожалела б она, всю пенсию до последней копейки выложила бы – на цветы и помин. Когда представляла себе это – всегда плакала. Отдать! Отдать всю себя, всю любовь!»* – и разве можно сказать после этого, что Мария – это просто «третий коврик», разве не чувствуем мы, что её «неправильная» и «обмирщённая» любовь вдруг оказывается даже теплее «правильной» любви матушки, вроде бы хорошо понимающей, чем «живая жизнь во Христе» отличается от обрядовости и ограниченности церковных старух.

И дело ведь вовсе не в том, что образ героини противоречит авторскому замыслу о ней, а в том, что, как только литературный герой превращается для нас в реального человека, мы мгновенно попадаем в ситуацию, когда любое осуждение его несправедливо. Более того, если обобщить наши рассуждения и вывести их за пределы несколько банального противопоставления «осуждение–неосуждение», то окажется, что вообще любое сведение внутреннего мира героя к какой-то отдельной характерной черте или к совокупности таких черт несовместимо с органичностью его характера.

Показ характерного вместо погружения в глубину внутренней жизни героя – это ещё одна ошибочная установка, внушённая нам даже не столько современной критикой, сколько академическим литературоведением, привыкшим в героях произведений искать те или иные типы. И если для изучения литературы такой подход вполне оправдан, то для самого процесса создания художественного образа подобная установка ведёт к тому самому схематизму¹⁷. Легко про-

¹⁶ В прозе Смородиных вообще много таких мудрых обобщений и продуманных психологических жестов, которые не могут родиться от воображения, а только из напряжённой внутренней жизни, но сформулированы они зачастую чересчур прямо (см., например, рассказ «Объяснение в любви» из той же подборки). Видно стремление авторов высказать важную мысль, а не показать её, не вживить в ткань художественного произведения. И потому в этом добром и вполне глубоком заключении всё-таки преобладает мысль, а не художественный образ.

¹⁷ Интересны в этом смысле воспоминания Тургенева о том, как он создавал Базарова, один из самых «типологических» образов русской литературы, вобравший в себя характерные черты поколения (а во многом и сформировавший его). Из этих воспоминаний ясно, что «типом» Базаров стал уже позже в реакции читателей и критиков – Тургенева же (как и любого подлинного писателя на его месте) привлёк образ живой, неповторимая личность, которую он мучительно нащупывал в своём творческом сознании. Подробнее об этом, например, в статье В. Кожина «Необходимость героя» в кн. Кожин Вадим. Статьи о современной литературе. М.: Сов. Россия, 1990.

иллюстрировать эту мысль на примере характеров героев, скажем, «Жизни насекомых» В. Пелевина¹⁸ да и произведений многих других постмодернистов¹⁹.

Итак, бесконечная глубина литературы заключается не только в неисчерпаемости художественного образа, но и в психологической бесконечномерности человеческого характера, его несводимости ни к одной, пусть даже самой сложной модели. Это, пожалуй, ключевой момент для органической критики, потому что именно в характерах героев во многом и кристаллизуется живая жизнь, и именно в душе человека бытийные вопросы достигают своего наивысшего напряжения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема неорганичности большей части современной литературы чрезвычайно серьёзна и остра, так что при всех ошибочных установках, распространённых внутри текущего литпроцесса, её невозможно не заметить, хотя бы на интуитивном уровне. Потому иногда увлечение, скажем, контекстной литературой сменяется вдруг неожиданным интересом к литературе непреодолённого факта (с этим связан, например, интерес к военной прозе²⁰ начала 2000-х после постмодернистского засилья 90-х). Однако чаще всего эта литература непреодолённого факта совершенно чужда художественному творчеству и не выходит за грань натурализма и документальности.

Подобные «всплески интереса» происходят во многом от непонимания того, о чём мы говорили в начале статьи, а именно: подлинная органичность заключается не в следовании хаосу жизни, а в соответствии её внутренней логике и её духу. Иногда для выражения такого соответствия требуется как раз-таки не естественность, а художественная условность. Вспомним, например, эпизод из романа Л. Леонова «Русский лес», в котором Грацианский вонзает палку в родничок, показанный ему Вихровым²¹. С одной стороны, достоверность этого эпизода спорна: ну зачем интеллигенту Грацианскому совершать такой странный поступок? С другой стороны – эпизод этот такой обнажённый остроты и обобщающей силы, что приобретает значение символа: всё напряжённое противостояние – Вихров–Грацианский – умещается в нём.

¹⁸ Пелевин Виктор. Жизнь насекомых. М.: Вагриус, 1999.

¹⁹ Сравните, например, из статьи В. Лютого «Случайные черты»: *«Характерность – всегда сознательное преувеличение немногих, тщательно отобранных автором черт героя, с неизменным умалением всего иного: психологизма и сложности внутренней жизни, прорывающейся из душевного – в духовное. Можно сказать даже, что мысль развивать характерное в отечественной литературе сегодня – мысль роковая и губительная для русской художественности, мучительно нащупывающей бытийные следы в нашей жизни и сопрягающей их с замыслом Творца о России и с любовью чистого сердца к своей Родине»*. Подъём. № 1, 2002.

²⁰ Денис Гуцко, Александр Карасёв и др.

²¹ О роли этого эпизода в романе смотрите, в частности, в книге Михаила Лобанова «Роман Л. Леонова «Русский лес».

Выражение непосредственности жизни – вовсе не цель литературы, задача её – освоение жизни, преодоление и выход к художественному обобщению при полной органичности языковых приёмов, вплетённых в текст мыслей, характеров героев. Можно даже сказать – в органическом подчинении всего этого материала силе авторской личности, волевым преодолении хаоса непосредственной жизни. Так подлинно крупный художник выражает своё время и своё понимание мира. Так происходит подъём на четвёртый уровень, на котором органичность обеспечивается целостностью личности автора²².

Но и это ещё не конец!

В итоге органичность на всех уровнях образует одно неразрывное целое, в котором таинственная связь объединяет не только языковые приёмы, мысли, характеры героев и образ автора в единое художественное произведение, но и связывает его со всей полнотой живой жизни на земле. Внимательно вглядываясь в эту загадочную сцепку литературы и настоящей жизни, мы с удивлением понимаем, что подлинно художественный текст есть не замкнутая система, живущая по собственным правилам, но – лишь маленький осколок зеркала, в котором отражаются не только события, в нём происходящие, но и духовно-нравственная целостность всего Богом созданного мира.

²² Сравните, например, в статье Михаила Лобанова «Мера художественности»: *«В художественном творчестве, так или иначе, всё сводится в конечном счёте к личности автора; от глубины или, наоборот, мелкости его внутреннего мира, органичности опыта или, напротив, голых мыслительных операций зависит степень содержательности произведения, мера самой художественности. Печать личности лежит в произведении буквально на всём, начиная от случайно обронённого авторского характерного словечка (иногда саморазоблачительного) и кончая стилем, сокровеннейшими душевными движениями героев. Не может духовная пустота породить что-то содержательное, как бы ни ухитрялась»*. В шесть часов вечера каждый вторник. Семинар Михаила Лобанова в Литинституте. М.: Издательство Литературного института им А. М. Горького, 2013.



Светлана
ДУРНОВА

Книгу переиздать — не новую создать

Сказания о Саратове:
Автор-составитель Дьяконов В. А. — 2015.

Обыкновенно в том случае, если автор задумал переиздать книгу, он пишет в выходных данных: «Издание второе, переработанное и дополненное». К сожалению, автор-составитель «Сказаний о Саратове» В. А. Дьяконов этого не сделал. Все собранные в Саратовской областной библиотеке на презентации сборника «Сказания о Саратове (в стихах, песнях, картинах)» приняли его за новинку, тем более что книга выпущена к 425-летию Саратова. Поэтому хвалебных отзывов в местной прессе было немало.

«Как сказал сам автор-составитель, — пишет один из рецензентов, — идею издать такой сборник он вынашивал давно, и эта книга лишь первый шаг к воплощению задуманного».

Но куда же деть тот «шаг», который В. А. Дьяконов сделал в 1997 году, восемнадцать лет назад, выпустив как составитель «Сказания о Саратове в стихах и песнях», посвященные 200-летию Саратовской губернии?

Мне кажется, если бы автор за прошедшие 18 лет как должное поработал над этой замечательной идеей, чтобы воспеть родной город в стихах, песнях, картинах, то получилась бы нужная, увлекательная книга. Но, к сожалению, этого не произошло.

Смею возразить тому же рецензенту, утверждавшему, что «особая ценность сборника в том, что в нём собраны краткие биографические справки о каждом поэте и художнике». Вот с них, с этих кратких биографических справок, мои сомнения и начались. Покидая зал библиотеки после дружного пения собравшимися популярной песни «Огней так много золотых на улицах Саратова», я случайно услышала разговор двух пожилых читателей:

— Надо же, какой долгожитель Николай Доризо! Ему, оказывается, 92 года!

— С чего ты это взяла, по-моему, он умер.

— Да вот в книге этой (*Первая дама показывает только что приобретённые «Сказания о Саратове...»*.) внизу есть сноски, а там написано: «Николай Константинович Доризо (родился в 1923 году)». Если бы он умер, был указан год смерти, через чёрточку, как у других ушедших поэтов.

Я подивилась услышанному. Придя домой с новой книгой, первым делом стала изучать все сноски. Обнаружила, что «долгожителями» (в смысле они живы и по сей день) являются, оказывается, и Александр Петрович Межиров («родился в 1923 году»), и Анатолий Михайлович Абрамов («родился в 1917 году»). Сразу замечу, что Интернет незамедлительно выдал информацию о годах жизни Н. Доризо (1923–2011), А. Межирова (1923–2009), А. Абрамова (1917–2005).

Вначале я испытала чувство досады: надо же, какая непозволительная небрежность в обращении с датами допущена со стороны опытного журналиста и искусствоведа! А потом, после прочтения стихотворения Б. Озёрного «Родной город» и комментария о поэте, у меня зародилась смутная догадка, что все стихи, опубликованные в книге, когда-то уже были изданы, а вот теперь торопливо перенесены без должной, выверенной работы в «новые» «Сказания...».

Итак, об Озёрном: на странице 24 напечатано его стихотворение «Родной город». Почему-то изменено первое четверостишие. У Бориса Озёрного картина родного города из иллюминатора самолёта выглядит так:

*Плывёт под крыльями Саратов —
Красавец волжских берегов.
Кварталов ровные квадраты
Застыли в зелени садов.*

В новой (хотелось бы узнать – чьей?) редакции – по-другому:

*Плывёт под крыльями Саратов –
Встают у волжских берегов
Кварталов ровные квадраты
В июньской зелени садов.*

А ведь образ Саратова – «красавца волжских берегов» – как нельзя лучше подходит к волжским мотивам В.О. Фомичёва. Но о нём предстоит особый разговор.

Комментарии к стихотворению Озёрного гласят: «**Стихи взяты** (выделено мною. – С.Д.) из книг «У крутых берегов» (1950), «Огни на стрежнях» (1950)». Но я-то знаю, что стихотворение «Родной город» написано в конце 1951 года и впервые опубликовано в 1959 году в авторской редакции в сборнике «Звёзды светят в пути» (стр. 44). На всякий случай перелистала оба указанных в сноске сборника. Конечно, стихотворения этого там нет. Но что значит фраза: «Стихи взяты...»? Закрадывается подозрение, что их могло быть несколько.

И вот я снова в библиотеке, имея «подсказку», взятую из комментариев-сносок, посвящённых Е. Бикташеву и Н. Палькину (стр. 37 и 40). Оба текста заканчиваются одинаково: «Публикуется по «Саратовскому вестнику» 1997 г.». Я заказала этот «Вестник», а он оказался ничем иным, как «Сказаниями о Саратове», вышедшими в 1997 году и очень похожими на «новое» издание форматом, красивым шрифтом заглавия на обложке. Но книга была посвящена 200-летию Саратовской губернии. В ней я вновь встретила почти со всеми авторами, что и в нынешнем «Сказании», и с теми же комментариями. Действительно, Б. Озёрный представлен двумя стихотворениями: «Родной город» и «В Каюковских ярах», с тем же искажением первого четверостишия «Родного города». Тогда, в 1997 году, были живы и Доризо, и Межиров, и Абрамов. Поэтому-то и не было вторых скорбных дат.

Теперь о том, что является главным отличием этих двух изданий. В сборник 2015 года, помимо составляющих его стихов и песен, добавлены ещё и репродукции картин. Картин известного саратовского художника Василия Осиповича Фомичёва (1924–1992). Но и здесь составитель допустил досадный промах: не сделал надписи к картинам (кроме одной: «Пугачёв на Соколовой горе»). Даже не указано, какая картина воспроизведена на пер-

вой обложке. А ведь «Троицкий собор» В.О. Фомичёва – это классика, как «Март» Левитана или «Грачи прилетели» Саврасова. И уж совсем недопустима строчка в конце краткой аннотации на последней странице: «Сборник оформлен иллюстрациями заслуженного художника РФ В.О. Фомичёва».

Помилуйте, Вячеслав Алексеевич! Ведь все знают, что слово «иллюстрация» означает «изображение, поясняющее или дополняющее текст в книге». Причём художник-иллюстратор заранее знакомится с книгой, над которой ему предстоит поработать.

Вот в первом издании 1997 года художник-график В.Г. Евграфов действительно проиллюстрировал книгу своими замечательными офортами и гравюрами. Чего стоит только одна из них – «Старый вокзал»!

Да, жизнь и творчество выдающегося художника В.О. Фомичёва были неразрывно связаны с родным городом, с любимыми волжскими берегами. Во многом его картины созвучны стихам поэтов, представленных в «Сказании». Но и только. Это не иллюстрации. Картины Фомичёва – третья составляющая часть книги, и её надо было оформить грамотно, любовно и бережно.

Все картины В.О. Фомичёва необходимо было обязательно подписать на каждой странице или дать перечень названий всех картин в конце издания. И, конечно, требуются особые комментарии о художнике, работы которого находятся не только в музейных коллекциях России, но и за рубежом.

С моей точки зрения, картин в книге слишком много, явный перебор. Безымянные портреты мало что говорят о Саратове – главной теме книги. Обнажённая женская натура вряд ли является «иллюстрацией» к замечательному стихотворению Михаила Муллина «Саратовская сирень».

Объединить и показать в одном сборнике целый пласт культуры Саратовского края – задача, которую поставил автор – благородная, почётная и очень трудная. Торопливости и небрежности здесь не место.

Будем надеяться, что в следующем, ещё более расширенном переиздании «Сказаний о Саратове в стихах, песнях, живописи и графике» (почему бы вновь не включить сюда прекрасные графические работы В.Г. Евграфова?) читатели увидят гармонично оформленную книгу с выверенными комментариями и авторскими биографиями.

объёма есть свой резон: они действительно нацелены на определённую тему, на определённую сторону человеческой жизни.

Татьяна Кузнецова пишет и прозу – обычно в форме заметок, дневников, жизненных зарисовки, на лету становящиеся литературой.

Как это происходит? Автор, как психолог, разбирающийся в природе творчества, объясняет это так:

«Пишущие люди знают: часто тема стихотворения или повести долго вынашивается, обдумывается, шлифуется, пока наконец не облекается в слова и не выливается на бумагу. А иной раз тема приходит вдруг, словно бы ниоткуда. Вроде бы не заделало тебя это – а гляди ж ты, в один прекрасный день (утро, вечер, ночь) неодолимая сила потянула взять и рассказать именно о том, о чём, как говорится, и мысли не было... Выходит, что была мысль, но такая подспудная, что сам её не осознавал. А она, как родничок, пробивалась, пробивалась из глубин – да и пробилась. Зазвенела, зажурчала, выбрала русло и потекла – теперь уже ничем не остановишь. Надо только идти вслед за ручейком. Вот и эта книжка родилась именно так...»

Татьяна Кузнецова чутко откликается на творчество других поэтов. Одна из её книг, изданных в Энгельсе в 2015 году, называется «Отражения» – «поэтические отражения одних и тех же тем и настроений» двух авторов – Алексея Бусса и Татьяны Кузнецовой.

«...Не совсем понятно, как подобное сочувствие связывает нигде не пересекающихся поэтов. Наверное, это он самый – пресловутый эфир, совокупность мыслей, витающих в воздухе. «Поэтический образ – это всегда трансляция смысла», – говаривал Федерико Гарсия Лорка» (Алексей Бусс).

«...При всей нашей непохожести (иногда доходящей до совершенного несовпадения) очень многое... совпадало. Иногда буквально, чаще – как второй голос, по-своему поющий ту же мелодию...» (Татьяна Кузнецова).

И действительно, в книге перекликается буквально всё: темы, образы, ритм. Это стихи о природе и связи с ней человека, глубокие философские стихи о родной земле. Вот эти переклички: «Я всю как есть её приемлю, / Обиды малой не тая, / И в эту глинистую землю / Однажды лягу как своя» (Татьяна Кузнецова). «От солнца трескается грязь, / Земля застыла, разленилась, / И в чём различье,

ей-же-ей, / Меж тем, кто в ней и кто над ней?» (Алексей Бусс). «Имена легко пришли / Тех, кто дорог мне под солнцем: / Их всё меньше остаётся / На поверхности земли» (Татьяна Кузнецова).

Перекликается и тема поэта и поэзии, посвящения любимым поэтам: Максимилиану Волошину и Марине Цветаевой. И, наверное, самые показательные в этих совпадениях-отражениях – стихи о поэтах. Для наглядности приведу их полностью.

Алексей Бусс:

*Поэта убить несложно –
Забвением или ложью,
Тупым безразличьем ровным,
Просто случайным словом.
Нетрудно убить поэта
Лестью и звоном монеты,
Воем кабацких ульев,
В крайнем случае – пулей.
Но, несмотря на это,
Всё так же живут поэты,
Стаканом черпают космос –
Они ведь поэты просто.*

Татьяна Кузнецова:

*Поэта обмануть совсем несложно.
Поэт в обычном ищет невозможное,
А потому наивен как дитя.
Он достаёт надежды ниоткуда,
Он сотворит сверкающее чудо
Из небылиц – играя и шутя.*

*Его душа открыта днём и ночью.
Он обладает кожей тонкой очень –
И значит, вам не стоит ничего,
Презрительно кривя в усмешке губы,
С ним говорить насмешливо и грубо
Иль снисходительно жалеть его.*

*Поэт бывает вправду непонятен:
Смешон и дерзок, робок и невнятен –
Как будто сумасшедшему сродни.
Всё это так. Но много ль чести в этом:
Смеяться над блаженным и поэтом?
Уж многие пытались.
Где они?*

Конечно, перед нами поэты разные по стилю, по авторской индивидуальности. Но общее то, что говорят они о важных вещах в русле традиции, понятным русским языком. Именно язык и стихотворный размер, а также прямота высказывания диктуют то, что некоторые поэтические мысли совпадают. Самое главное, что попытка создать целостную поэтическую книгу, отражающую душу в душе, человека в человеке, удалась.

**ПАМЯТИ КОНСТАНТИНА ИОНОВА****Татьяна
ЕРМОЛАЕВА****ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ
КОНСТАНТИНА ИОНОВА**

Сегодня, когда мы пресыщены изобилием на прилавках, трудно даже поверить, что когда-то «для счастья» хватало пары банок зелёного горошка или палки копчёной колбасы. Торговля в то суровое время удовлетворяла запросы граждан не мудрствуя лукаво, не ведая о конкуренции и маркетинге. Однако даже в тех условиях от управленческих талантов зависело, насколько тяжело бремя дефицита ляжет на плечи покупателей.

И ПЕРВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР «КВН»

Нашему герою тонкости торгового дела были известны непонаслышке. Совсем молодым человеком более чем полвека назад встал он за прилавок только-только открывшегося в Саратове специализированного магазина по продаже телевизоров. И так получилось, что первый в Саратове телевизор марки «КВН-49» продал осенью 1957 года именно он – Константин Ионов, заочник торгового техникума, целеустремлённый советский юноша. Для магази-

-
- Татьяна Ивановна Ермолаева родилась и живёт в Саратове. Трудовую деятельность начала в 1981 году в должности заведующей отделом Фрунзенского исполкома. В 1997 году стала начальником отдела организационной работы и взаимодействия в администрации города. С 2006 года – заместитель главы администрации Ленинского района. С 2007 года по настоящее время – помощник депутатов Саратовской областной Думы. Победитель конкурса «Лучший муниципальный служащий РФ» (2003). Обладатель 12 почётных грамот и благодарностей органов законодательной и исполнительной власти города и области.

на телевизоров выделили помещение на проспекте Кирова, в бывшей «Астории», между входом в ресторан и гостиницу «Волга». Пока строители оборудовали прилавки и стеллажи для радио- и телевизионной техники, с группой будущих продавцов занимались специалисты-телемастера из первой в Саратове телемастерской (располагалась она в здании на углу улиц Горького и Гоголя). Учили, как включать и настраивать телевизор, как подключать антенну и трансформатор, как регулировать напряжение, другим премудростям, которые помогли бы покупателям грамотно и безопасно обращаться с высоковольтной бытовой техникой. Уроки радиотехники вели преподаватели из техникума электронных приборов имени Яблочкова. Занятия шли в магазине. Через два месяца пятеро продавцов, в том числе и Константин Ионов, были готовы принять первых покупателей.

В то время даже в такой специфической сфере, как торговля, на первом месте стояли деловые качества, а потому не удивительно, что уже в 23 года Константин возглавил магазины «Спорткультторга», а через пять лет, в 1967 году, работал уже в областном управлении торговли в должности начальника отдела промышленных товаров. А всего в торговой сфере он к тому времени трудился десять лет, начав свой путь в 17 лет с должности простого рабочего в Центральном универмаге Саратова.

С высоты наших лет кажется нам, что советские магазины – это такое царство уныния и пустоты. И правда, плановая экономика советского человека держала в ежовых рукавицах, чиня миллион препятствий вполне естественному желанию вкусно есть и хорошо одеваться. Под подозрением были и служители Гермеса, так как предприимчивость и деловая хватка не вписывались в канон ценностей строителя коммунизма.

И всё же талант всегда находил себе применение. Просто так перебирать бумажки молодому руководителю не хотелось, а потому занялся Константин Константинович Ионов изучением спроса и предложения. Но в условиях социализма, когда спроса много, а предложения – совсем чуть-чуть, было не до теорий. Постоянно стояла задача борьбы с дефицитом. Ознакомившись с возможностями промышленности региона, начальник промотдела начал размещать на заводах заказы торговли на товары народного потребления. Ревностный подход к делу, активность и целеустремлённость не остались незамеченными. Уже через два года Константин Ионов становится заместителем начальника управления торговли облисполкома.

ТОРГОВЛЯ НЕ ВИНОВАТА

На этом посту он работал долгие одиннадцать лет, до 1980 года. Новый пост – начальника управления, рулевого всей торговли в Саратовской области – открывает перед нашим героем новые возможности. Его предложения по оптимизации системы управления торговли в стране получают в 1974 году одобрение самого председателя Совета Министров СССР Алексея Николаевича Косыгина, автора рефор-

мы народного хозяйства. В том же году чиновник из провинции снова выдвинул смелое по тем временам предложение об изменении преискуранта на товары, подлежащие уценке, и предложил возложить эту обязанность на местные органы власти. Для того времени, когда из Москвы планировали всё, это был очень смелый шаг.

А вот ещё одно яркое событие, которое произошло в те годы:

– В Москве состоялась коллегия Министерства торговли РСФСР с участием всех начальников областных и краевых управлений торговли, а также зампредов областных и краевых исполкомов, – вспоминает Константин Константинович. – Смысл прозвучавших речей был такой: в стране очереди, дефицит, а виноваты торгаши, они работать не хотят, хотя товаров, на самом деле, завались. Я уже тогда обратил внимание на цифры, потому что объёмы производства показались мне очень уж высокими.

Вернувшись в Саратов, начальник управления торговли запросил информацию об объёмах производства товаров народного потребления, которые выпускались областной промышленностью, и выяснил, что по этой категории проходили не только готовые изделия, но и комплектующие, фурнитура, а также тара для товаров, которые в области даже не выпускали. В этом и причина «отставания» торговли! Собрав все подтверждающие документы, Константин Константинович направил информацию в Министерства торговли СССР и РСФСР.

– Там мои доводы поддержали, – продолжает он свой рассказ. – И вот в Москве собирается союзная коллегия министерства, и мой доклад стоит в повестке дня сразу после докладов зампредов советов министров Украины и Белоруссии. И вот они ругают торговлю, а затем вдруг выступаю я с прямо противоположным докладом, где доказываю, что обвинения несправедливы. Меня слушали в полнейшей тишине, а в конце вдруг устроили самую настоящую овацию, ведь в других регионах была такая же картина.

После этого примерно через полгода вышло в свет постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о дополнительном производстве товаров народного потребления в стране. А в Саратовской области управление торговли организовало выставку товаров народного потребления в помощь промышленным предприятиям.

Вообще, в областном управлении торговли жизнь кипела. И само управление, несмотря на провинциальность, было, как бы сказали сегодня, продвинутым. Здесь действовал арбитраж, разрешавший торговые споры, работал ярмарочный комитет, специалисты торговли выезжали на ярмарки в другие регионы, чтобы пополнить ассортимент своих прилавков. В областном центре открывались специализированные магазины, во всех 12 городах, которые курировало управление, были построены хранилища овощей и фруктов, чтобы снять вопрос снабжения населения.

В 1980 году Константин Константинович Ионов, один из самых ярких профессионалов в сфере экономики, защитил кандидатскую диссертацию, на которую было собрано сорок отзывов.

КОНЕЦ ДЕФИЦИТУ

– Объективно снабжение, особенно продуктами питания, ухудшалось, – вспоминал Константин Константинович. – Мало кто знает, но здание возле Крытого рынка, где сейчас находится «Детский мир», предназначалось под большой продуктовый супермаркет, в котором всегда должен быть хороший выбор товаров. Ведь запущена же у нас в стране продовольственная программа! А на деле торговать там было нечем. И чтобы не раздражать народ, решено было открыть «Детский мир».

Зато во второй половине 1980-х в стране началась совершенно другая эпоха. Перестройка, кооперативное движение, договорные цены, рыночные отношения... Всё, что давно вынашивал руководитель региональной торговли, стало вдруг возможным. И вместе со всей отраслью стал Ионов готовиться к работе в принципиально другой экономике. Были переведены на аренду с правом выкупа все торговые организации, кроме магазинов горхлебторга.

А в начале 1990-х, во исполнение Указа Президента России «О коммерциализации торговли» все арендные предприятия были выкуплены работниками, причём по остаточной цене, а не на аукционе. Тогда же было ликвидировано управление торговли, в которое наш герой пришёл ещё в далекие 1960-е годы.

Сам Ионов после ликвидации областного управления пошёл в топ-менеджеры – создал в Саратове акционерную торгово-производственную ассоциацию «Гермес», которая в переходное время снабжала товарами торговые точки.

ПРОФЕССИОНАЛЫ ВСЕГДА НУЖНЫ

В новую эпоху профессионализм Ионова тоже оказался востребован. В 1997 году он стал заместителем мэра Саратова, начальником департамента потребительского рынка. Под его руководством было разработано и воплощено в жизнь несколько среднесрочных целевых программ: по защите прав потребителя, развитию общественного питания, бытового обслуживания. А ещё под его руководством шли постоянные обучающие семинары для работников малого бизнеса.

– Были свои сложности, конечно. Мы открывали новые рынки, организовывали ярмарки, где местные производители могли продать свои товары, боролись с хаосом и стихийной торговлей, подчиняя её требованиям законодательства, – вспоминал Константин Ионов. – Одна только кампания по расчистке площади перед Сенным рынком от стихийных торговых рядов чего стоила! Но мы всё же сумели убедить продавцов, стоявших на улице в любую погоду, перейти работать в здание вновь образованного Губернского рынка.

При Ионове в Саратове открылось порядка десяти рынков, среди них такие, как «Славянский мир», «Привокзальный», уже упомянутый «Губернский». При нём торговые павильоны старого образца были заменены на современные мини-маркеты и в целом торговля

в Саратове перешла к цивилизованному формату. В 2003 году, завершив карьеру городского управленца, Константин Константинович Ионов стал первым заместителем председателя Общественной палаты Саратовской области, одно время возглавлял городской политсовет партии «Единство». Создал он и городскую общественную организацию по защите прав потребителей и предпринимателей.

И позднее, когда отшумели политические бури, не спешил отгораживаться от жизни заслуженный работник торговли России, кандидат экономических наук, обладатель ряда государственных наград (орден Трудового Красного Знамени – из советских времён, Орден Почёта – из 1990-х годов), энергичный менеджер социалистической, а затем и рыночной эпохи. Что мог сказать нам человек уникального опыта, сумевший раскрыть себя в совершенно разных обстоятельствах и остаться собой на разломе эпох?

– Я больше пятидесяти лет отдал делу, которое люблю. Так получилось, что пережил одну формацию и становление совершенно другой. Что я вынес, какой урок получил? Я знаю, что меняется многое, начиная от денежных знаков и кончая приоритетами и целями бизнеса. Но остаются и вечные ценности. Для меня это профессионализм в работе, любимая семья и человеческая порядочность.

Основы его характера заложили ещё в раннем детстве бабушка и дедушка. В 1943 году его отец погиб на фронте, в том же году умерла и мама, четырёхлетнего малыша взяла на воспитание мамина мама (её муж был на фронте и вернулся домой после Победы), внучка княгини Софьи Гагариной, владевшей хуторами на территории нынешнего Воскресенского района. Естественно, о княжеских корнях бабушка тогда не распространялась, свою родословную он узнал позже. Но не княжеская кровь сформировала его личность, а бабушкина любовь, её забота о внуке.

Когда ему исполнилось восемнадцать лет, дед и бабушка были уже пенсионерами, и пришла его очередь позаботиться о них, и он выбрал путь торгового работника под влиянием двоюродного деда, родного брата бабушки, воспитавшей Костю.

«Обладая незаурядными организаторскими способностями и имея значительный опыт практической работы, кругозор и разносторонние знания, Ионов К. К. пользуется большим авторитетом среди работников отрасли». Это строки из служебной характеристики. Все, кто знал Константина Константиновича, подтвердят, что это не просто формальные слова, а резюме биографии человека, всей своей жизнью доказавшего, что не место красит человека, а человек красит место и то дело, за которое несёт ответственность перед людьми и Богом.



Лики зимы

(О работах Елены Лялиной)

Саратовская художница Елена Лялина выработала неповторимый творческий почерк, который проявляется с каждым годом всё отчётливее. Художница известна своими жанровыми работами и оригинальными названиями картин, она провела несколько десятков персональных выставок, участвовала во множестве выставок коллективных.

Все её работы окрашены юмористическим и в то же время светлым, праздничным настроением. Когда их рассматриваешь, прежде всего бросаются в глаза яркие, чистые краски, чёткие контуры. От этих картин идёт такой заряд положительной энергии, что у посетителей выставки непременно поднимается настроение. И происходит это потому, что Елена Лялина в своём творчестве соединяет добрую сказку и реальность, точнее, умеет претворять реальность в сказку, художественным способом преобразовывать.

Героями Елены Лялиной становятся рождественские ангелы и маленькие дети, мифологические существа, персонажи русских народных сказок и... обыкновенные домашние коты. Коты, почти всегда «очеловеченные» – это особенно любимые и, пожалуй, самые характерные персонажи. Елена Лялина создаёт целый цикл работ, им посвящённый. Это такая своеобразная планета котов (как в стихотворении известного детского поэта Андрея Усачёва), гуляющих по улицам, работающих за компьютером или обедающих, ожидающих свидания в зимний вечер, играющих на гармошке или просто сидящих в задумчиво-философской позе возле саратовского моста («У самовара», «Кот Модильяни», «Завтрак», «Обед в конторе», «Поющий кот»). Потому и многие персональные выставки художницы были посвящены именно «кошачьей теме», а отдельные «портреты котов» оказались в частных коллекциях любителей живописи,

редакциях журналов и газет, в городских музеях.

Не менее любимыми становятся для Елены Лялиной мотивы родного города. В 2009 году за работы, представленные в серии «Привет из Саратова», художница получила диплом лауреата от министерства культуры области, а саратовские тематические картины приобрёл музей краеведения.

Саратовская символика действительно играет особую роль в творчестве Елены Лялиной, это изображение известных мест, «знаковых» пейзажей города: моста через Волгу, консерватории, проспекта Кирова. Но все эти известные виды волшебным образом изменяются при помощи преломления точки зрения, изменения угла зрения, перспективы – и особого цветового колорита (картина «Ангел над городом»).

Впрочем, и любой, даже безвестный уголок города оживает под кистью художницы. Город – словно отдельный персонаж, все детали – дома, деревья, фонари, дороги и облака – тоже кажутся не просто одушевлёнными, но до краёв наполненными жизнью. Происходит его перерождение в особое пространство, преобразование в рождественскую сказку.

В 1–2 номере нашего журнала представлены «зимние» картины художницы. На них мы видим разные лики зимы. Это и саратовский дворик на центральной улице, и суровая крепость, укрытая снегом, и морозный вечер в деревне. Обратите внимание на цвет снега. Он не белый, он везде разноцветный, переливающийся самыми разными оттенками, как волшебство зимы, с ощущением её праздничной новизны.

По словам художницы, этих работ пока ещё никто не смотрел. Так что читателям журнала первым предстоит радость увидеть зиму глазами Елены Лялиной.

Редакция журнала «Волга—XXI век»

Редакция журнала «Волга–XXI век» с прискорбием сообщает, что 18 января 2016 года трагически погиб Адольф Андреевич Демченко, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии и журналистики Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, член редакционной коллегии журнала «Волга–XXI век».

Адольфу Андреевичу принадлежит редкий в нашей науке опыт создания полной научной биографии писателя-классика. Этот труд – «Николай Гаврилович Чернышевский. Научная биография: в 4 томах» – вышел в издательстве университета и принёс автору широкую известность и признание в профессиональной среде в России и во многих странах мира. А с японскими исследователями русской истории и культуры у Адольфа Андреевича Демченко сложилось весьма плодотворное научно-исследовательское сотрудничество.

Адольф Андреевич создал целую библиотеку учебных и научно-популярных книг о Чернышевском и его современниках, адресованную широкому кругу читателей, школьникам и студенчеству.

Адольф Андреевич Демченко был замечательным учителем, учёным и человеком.

Верному служению родному университету посвятил Адольф Андреевич все последние годы своей жизни как профессор, заведующий кафедрой, один из организаторов и руководителей Объединения литературоведов Поволжья.

«Все, кому довелось встретиться на жизненных и профессиональных путях с Адольфом Андреевичем Демченко, запомнят его как подлинного мастера уникальных научных исследований, проникновенного наставника, обаятельного человека, во всех делах проявлявшего важное качество, обозначаемое любимым его оценочным словом – основательность», – отмечается в некрологе Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского.



*Юрий Куклачѳв получает в подарок от Елены Дялиной картину
«Белый лубочный зимний кот»*

Журнал «Волга–ХХI век» зарегистрирован МПТР РФ,
свидетельство ПИ № 77-16080 от 6 августа 2003 года.

Учредители: Министерство информации и печати Саратовской области, Саратовское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Издатель: ГАУ СМИ СО «Регион 64».

Директор – Владислав Степанов.

Редакция:

Главный редактор – Елизавета Данилова.

Дизайн и вѳрстка – Лилия Баранова.

Корректор – Елена Березина.

Художник – Елена Лялина.

Подписано в печать 26 февраля 2016 года.

Дата выхода в свет 29 февраля 2016 года.

Журнал отпечатан в ООО «Амирит».

Адрес типографии: г. Саратов, ул. Чернышевского, 88.

Заказ № 01/26026

Цена свободная.

Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, а/я 3535.

Адрес редакции: г. Саратов, ул. Соборная, 42.

Тел. (факс): (845-2) 28-63-49.

E-mail: lizamart@yandex.ru

Сайт: www.g-64.ru/volga

Подписной индекс 14320

При перепечатке ссылка на издание обязательна.

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своём решении.

Формат 70x100 1/16. Усл. печ. л. 15,60.

Бумага типографская. Печать цифровая.

Тираж свободный.



© ГАУ СМИ СО «Регион 64», 2016.

© «Волга–ХХI век», 2016.

РАБОТЫ ХУДОЖНИЦЫ ЕЛЕНЫ ЛЯЛИНОЙ



«Саратовский дворик»



«Старая крепость зимой»



Елена Лялина. «Кошка с котёнком на санках»



ISSN 1993-9477

9 0216